

АЛЕКСАНДР ПОПОВ



ПОСЕЛЕНИЕ

РОМАН

*И отвалились от земли руки у Серого:
“Поневоле сдашь её, землю-то: её,
матушку, в порядке надо держать,
а уж какой тут порядок!”*

И. А. Бунин. “Деревня”

1

Начать сенокос как обычно после Петрова дня Виталику Смирнову в этот раз не удалось. Всему виной был установившийся с недавних времен порядок пасти деревенское стадо по очереди... и собственная слабохарактерность. Сразу три дома попросили выручить, попасть за них не в свою очередь. Конечно, можно было бы и заупрямиться, отказать. Но уж больно причины у всех были серьезные и уважительные. У одних умер близкий родственник где-то в дальних краях, у других разом заболели корью гостившие внучата из города, у третьих призывали (что случалось всё реже и реже, и воспринималось уже как экзотика) сына в армию. Виталик помялся, поёжился, поулыбался тихими васильковыми глазами... и пошёл всем навстречу. По жизни он предпочитал особо ни с кем не заедаться и вообще был покладистым малым, хотя на сердце заныло — для своих трёх коров и пяти овец с ягнятами

ПОПОВ Александр Владимирович родился в 1953 году во Владимирской области. Окончил Московский полиграфический институт. Работал корреспондентом “Комсомольской правды”, “Огонька”, заведующим отдела очерка и публицистики журнала “Молодая гвардия”, заместителем главного редактора исторического журнала “Родина”, шеф-редактором журнала “Союзное государство”, главным редактором интернет-изданий. Живёт в Москве.

сена надо было каждый год запастись тоннами, и тут каждый день в середине июля, в самую жаркую пору, когда накошенная трава высыхала на глазах, был на счету. Да и косилку он уже навесил на трактор, проширицевал всё, подтянул, опробовал на холостом ходу. И готовился начать обкашивать овраг за деревней, где трава в этом году после сырой и затяжной весны поднялась как никогда густая и сочная. И вот на тебе, предстояло отдать четыре золотых денёчка на занудное кочевание с коровами и овцами по дугам, псу под хвост, безо времени... И это его тяготило, как всегда тяготило то, что приходилось делать, словно с перепугу, нежданно-негаданно, без наторенного, привычного порядка.

Но в первый же день досадного, несвоевременного пастушества, когда Виталик погнал ранним утром жиденькое деревенское стадо — три десятка пёстрых, разнопородных коров и грязно-серую, лохматую сплотку овец — по привычному маршруту в пойму Кержи, подкрался мелкий, несмелый, как начинающий воришка, дождь, и от сердца Виталика отлегло.

Он шёл за нестройно рассыпавшейся вдоль шоссе, голодно припадающей с утра к траве скотиной, пощёлкивал для острастки на отстающих, колченогих, страдающих копыткой овец, коротким ременным кнутиком на длинном кнутовище, отполированном в ладонях до лакового блеска, поглядывал на быстро затягивающееся тёмно-серыми тучами небо и думал, что оно может быть и ничего, что досталось вот так неожиданно пасти, косить в такую погоду всё равно нельзя, и в этом смысле хорошо, что так получилось. Но когда пристальнее оглядывал из-под длинного козырька бейсболки набухающие влагой и всё ниже проседающие на землю облака, мысли опять приобретали беспокойный характер — главное, чтоб на сеногной не завернуло, как два года назад. Тогда вот так же начиналось с сопливого, тёплого дождичка, а разошлось нелетними, холодными ливнями на три недели, так что за покос он взялся только в августе. А какое сено в августе — проволока, а не сено...

И, словно подслушивая невесёло-обременительные мысли Виталика, дождь пришипорил, смелее зашуршал по крапиве и лопухам, редким, объеденным овцами, кустам вдоль дороги. Виталик достал из брезентовой сумки через плечо предусмотрительно захваченный, аккуратно скрученный в рулон, матово-прозрачный полиэтиленовый дождевик с капюшоном, тщательно обрядился в него, застегнувшись на все пуговицы-кнопки, разглядел на себе, огляделся и, визгливо скользнув резиновыми сапогами по сырой траве, побежал заворачивать непутёвую, вечно отбивающуюся от стада, глупо-строптивую корову Генки Демьянова, которая и в это утро, как всегда, самоуверенно и нагло направилась в сторону зеленеющей капусты на крайнем от села приусадебном участке. “Какая вредная тварина — вся в хозяина!” — беззлобно думал Виталик, несколько раз легонечко, щадяще приложившись кнутиком к худым, с намертво присохшим навозом, ляжкам коровы. Корова обиженно повела на него своим большим, глупым оком и коряво припустила, тяжело болтая огромным круглым выменем, размером с футбольный мяч, с заляпанными грязью сосками, куда-то во главу стада. Виталик перегнал табун через шоссе, с искрошенным, переломанным в мелкую плитку асфальтом, и вольно распустил стадо по отлогому косогору к реке. Теперь можно было расслабиться и передохнуть, подкрепиться чем Томка снарядила в дорогу. Он присел под густые, запахшие горечью под дождем кусты черёмухи на горке, выбрав место посуше у корневищ, и с удовольствием позавтракал парой яиц вкрутую, варёной курятиной, запив всё горячим чаем из термоса. Томка у него была баба хозяйственная и заботливая, Виталик подумал о ней с теплотой, и в который раз, что женился правильно.

Пасти ему выпадало обычно три-четыре раза за сезон с мая до середины октября, и это было для него каторгой. Не любил он уныло-тягучее, изнурительное пастушье дело. Четыре дня — три за коров и один за овец (так почему-то было определено в деревне) — монотонного, однообразного перемещения вдоль реки и одичавших полей, когда время шло черепашьим шагом, всё на ногах, и в дождь, и в жару всегда в резиновых сапогах, так, что до неестественной белизны опрели пальцы на ногах, сухомытка, вставание ни свет ни заря, усталость за день, что отваливались, становились ватными

ноги — выматывали его до такой общей разбитости, полного изнеможения, что обычно на четвёртый день не хотелось ни вставать, ни шевелиться, ни есть, ни пить. То ли дело было прежде, когда всем селом занимали пастуха, скидывались ему на зарплату, кормили по очереди самым вкусным и лучшим, чтоб старался, скотинку не обижал... и горя, как говорится, не знали. Правда, тогда и стадо было побольше, под двести голов, в каждом хозяйстве держали корову и не одну, телят, овец по десятку.

Виталик оторвался от воспоминаний и нашарил в сумке китайский приёмник, специально подаренный ему сыном в прошлом году на случай такой вот одинокой, скучной работёнки. Покрутил колёсико настройки, везде с утра забоскалили, смешили друг друга, рассказывали хохмочки и байки, пели непонятные песенки, что-то трещали про цены, курсы, индексы. Виталик с отвращением выключил радио. Ничего дельного, чтобы хоть что-то услышать полезного, чтобы хоть кто-то рассказал, как жить тут, как другие живут. Одна неразбериха какая-то и тарабарщина — триллеры, трейлеры, ритейлеры... и не выговоришь, и ничего не понять. Он действительно не понимал, что происходило за пределами его хозяйства, семьи, возни с коровами, отёлами, стрижкой овец, выпашиванием телят, чисткой навоза, сенокосом, уходом за домом, продажей молока, сметаны, творога... Раньше понимал, а вот теперь, хоть убей, не понимал. Нет, он понимал, что надо как-то выживать, что-то зарабатывать, крутиться, прикапывать деньги на свадьбу сыну и дочери, ведь когда-то они будут жениться и замуж выходить, нужна им будет и крыша над головой, не всё же по общежитиям и чужим углам отираться, а там надо будет обзаводиться обстановкой, пойдут дети, их нужно будет каждый день поить-кормить, покупать одежду-обувь... Опять же внукам помогать надо, как же без этого... Но вот как всё это устроить, как приладить и завинтить в одно целое, чтобы было от чего-то устойчивого и надежного оттолкнуться и пойти, пойти дальше от одного к другому, налаженным ходом? Как? Этого он решительно не понимал. Раньше понимал, когда работал в совхозе на машине, потом на кране... был везде нарасхват, знал, что будет делать каждый день, сколько заработает, сколько налевачит, на сколько и чего купит для хозяйства, на какие шиши приоденется с женой и детей в школу сберёт. И сколько на главное дело, можно сказать, мечту заветную, на книжку положит...

В армии Виталик служил в ГДР, в автороте, на авиабазе под Дрезденом. Служба была необременительной, другие ходили в караулы, сутками не спали, охраняя хранилища и ангары, бегали по боевой тревоге, палили на пыльных стрельбищах, чеканили шаг на плацу, а Виталик исправно крутил баранку огромного и неуклюжего на вид, крокодилостого “Урала”, перевозил разнокалиберные армейские зелёные ящики со складов на аэродром и обратно, бомбы и ракеты в круглой опалубке, всегда гомонящих и хохочущих, радующихся, как дети, любой поездке на машине солдат, картонные коробки с маслом и тушёнкой, авиазапчасти, бочки с техническим спиртом, хозинвентарь, мебель и немудрёный скарб вечно кочующих из гарнизона в гарнизон офицеров. У других ни минуты покоя и отдыха, всё по часам и уставу, а Виталик набросит пилотку на глаза и подрёмывает себе, вытянув ноги, в просторной, пахнущей нагретой кожей и соляжкой, кабине грузовика, кемарит, пока не загрузят-разгрузят кузов, матерясь, на полусогнутых сноровистые, неутомимые солдатики. Но Виталик, надо заметить, не только меланхолично позёвывал на службе, не только лениво подсчитывал, сидя в теплой машине, как и большинство шоферов, в календарике вожделенные денёчки до дембеля или наводил бархоткой от безделья на сапогах глянec... Нет, не всё так однозначно, водилась за Виталиком как бы одна страстишка. И даже не страстишка, а врождённое свойство его природы. Тут надо сказать, что Виталик был весьма любопытен и наблюдателен по природе, а потому с самым живейшим интересом и внимательнейшим образом присматривался ещё ко всему, что вокруг происходит, деется, особенно у немцев этих, когда выпадало, допустим, к соседям под Лейпциг, где тоже стояли легуны, навещать.

Виталику нравились опрятные, вылизанные улицы; ровные, выложенные плиткой тротуары; обвитые плющом или диким виноградом неброские,

но какие-то надёжно сработанные, каменные дома немцев; низкие, хорошо покрашенные, пряменькие изгороди между соседями; цветники, клумбы, подстриженные бобриком газоны; чистота и порядок во дворах, где всё было продумано и каждый предмет знал свое место; правильно сформированные, подрезанные деревья. Но особенно эти прочные, двухэтажные дома из камня повсеместно... Они не выходили из головы, волновали его. А почему не построить что-то похожее у себя в деревне, и не зажить вот так же крепко и основательно, часто думал он, и его не раз подмывало как-нибудь остановиться вот у такого домика, зайти, осмотреть всё внимательно, расспросить, как строить надо, может быть, план срисовать... Он даже не выдержал и осторожно подступился с таким предложением к прапорщику Зозуле, с кем у него за два года службы и частых совместных поездок в командировки сложились вроде бы неплохие, чуть ли не приятельские отношения. “Ты шо, сдурел, хлопец? — насмешливо посмотрел на него прапорщик Зозуля, огромный, добродушный, пузатый хохол откуда-то из-под Ровно. — Контакты с местными... ни-ни! — Зозуля решительно рубанул воздух рукой, похожей на медвежью лапу, — у тебя в кузове богато всяких интересных хреновин понакидано... узнают, что стоял, балакал с немчурой... замордуют!” Виталик понял, что сморозил глупость, и смиренно прикусил язык.

Но, как говорится, кто ищет... Словом, однажды возвращались на базу из очередной поездки к каким-то дальним авиаторам, и тут надо было такому случиться, что у всегда надежного, как танк, “Урала” неожиданно закипел двигатель. Впрочем, не мудрено, жара установилась тогда, несмотря на начало мая, нестерпимая, градусов за тридцать. Виталик поднял крышку парившего, как поспевший самовар, капота и понял, что без ведра холодной воды не обойтись. К счастью, тормознули у буйно цветущей яблонево́й аллеи, уходящей от основного шоссе куда-то в глубь поля к краснеющим черепицей постройкам. Подумав, заметив посомневавшись, сопровождающий груз офицер, капитан Седельников, прозванный за не по чину повелительно-строгое, сухо-надменное обращение с сослуживцами Генерал-капитаном, всё-таки приказал Виталику сходить за водой к “бауэру”, только, свирепо рявкнул он, быть там предельно осторожным, в дом не заходить, лишний раз пасть не открывать, поздороваться, да поприветливее — “guten Tag!”, попросить “wasser”, сказать “danke”, и быстренько, на рысях, обратно. “Gut?” — грозно посмотрел капитан на Виталика. Виталик молча, втайне обрадовавшись, отмотал прикрученное проволокой к запаске, помятое ведро и отправился, как по райской дорожке, под гудящими пчёлами в кипенно-белом цвету яблонево́й аллеи к “бауэру”. “Вот таким будет подъезд и к моему дому”, — отметил он, осторожно, можно сказать, трусовато, вступая на незнакомый, чужой, немецкий двор.

Перед ним отрылось довольно широкое пространство в форме буквы П, вымощенное столетней, обкатанной временем до серо-сизого блеска брусчаткой. Справа под навесом стоял довольно потрепанный колесный тракторишка с брезентовым вылинявшим верхом на четырёх железных стойках и новенький белый “Трабант”; слева, также под навесом, были аккуратно, в рядок, расставлены плужки, культиваторы, сеялка, бороны. Виталик по-деревенски опытно отметил сверкающую сталь лемехов и зубьев борон от недавней работы с землей. Впрочем, судя по темным подтекам на брусчатке, технику здесь только что и помыли. Под навесами было прохладно и сумрачно, и от того как-то особенно радостно и приподнято выделялся на солнце выкрашенный нежной, розовой краской, большой, двухэтажный дом с лепной, в вензелях цифрой “1885” на треугольном фронтоне. В центре двора на высокой клумбе цвели желтые и красные тюльпаны. Виталик почувствовал, как у него разливается на сердце тепло. Вот так нужно сделать и у себя дома.

У трактора возился коренастый, плотный, средних лет человек в синем, замасленном комбинезоне, позвякивал ключами по металлу. Когда Виталик вошёл во двор, он оторвал крепко посаженную, на короткой шее, с жидкими прядями светло-рыжих волос голову от работы и с тревожным недоумением взглянул на гостя. Виталик, напрягая все свои познания в немецком языке, вынесенные из курса средней школы, сказал, что “main auto stop...”

bitte, wasser". Как ни удивительно, но немец его понял и показал на колонку в углу двора. Пока ведро наполнялось водой, Виталик ещё раз с плохо скрываемым восхищением оглядел двор и дом, что не укрылось от хозяина. Вытирая на ходу ветошкой руки, немец подошел к Виталику.

— Карл, — гортанно выдохнул немец, протягивая широкую ладонь, и добавил наполовину по-русски, наполовину по-немецки: — Здравствуй, kamerad!

“Не воевал, на вид — перед войной родился”, — подумал Виталик, пожимая руку немца.

— Карашо? — сказал Карл, махнув ветошкой вокруг себя.

— Хорошо, — сдержанно подтвердил Виталик и неожиданно начал объяснять на смеси немецкого и русского: — nach Heimat bauen auch Haus... хочу сделать такой же дом... на родине... nach Heimat!

Немец и это понял.

— Карашо, очен карашо! — схватил он ещё раз и потряс, смеясь, руку Виталика. — Kom... kom, kom! — показал на вход в дом.

Виталик замялся, вспомнив строгие наставления капитана.

— Бистро, очен бистро! — понимающе увлѣк его под локоток немец.

Виталик был уже не рад, что связался с этим “фрицем”, но любопытство пересилило страх. “А-а, семь бед, один ответ. Когда ещё помотришь, как изнутри они живут!”. Дом изнутри, однако, на взгляд Виталика, был не совсем правильно спланирован — слишком много маленьких комнаток, кладовок и подсобок, всё это было бы лучше укрупнить, расширить, придать размах... Но вот кухня ему понравилась с первого взгляда, поразила своей просторностью, ухоженностью, блеском эмалированной посуды на полках, ладно подогнанными друг к другу шкапами на стенах с горками тарелок, чашек, затейливыми рюмочками, стаканами, с идеально чистым кафельным полом, большим круглым столом посередине, обставленным стульями с высокими спинками, букетом сирени в прозрачной вазе на белой скатерти. “Вот такую чистоту и порядок заведѣм и у нас на кухне, где будем собираться всей семьѣй за круглым столом”, — разом размечтался Виталик. Немец угостил его из сифона стаканом шипучей воды с привкусом лимона и неожиданно достал из холодильника бутылку пива и кружок домашней колбасы, нарезал хлеба, напикавал все в полиэтиленовый пакет и протянул Виталику. Посмотрев на немца, на его доброе, просиявшее искренностью лицо, в светлые, без фальши глаза, Виталик понял, что жеманиться и отнекиваться здесь не надо, и принял подарок.

— Тебя только за смертью посылать, рядовой... Почему так долго? — подозрительно ощутив Виталика взглядом, процедил сквозь зубы тоном, не предвещающим ничего хорошего, Генерал-капитан, когда Виталик нарочито суетливо, энергичной трусцой подбежал к машине, стараясь не расплескивать в одной руке воду в ведре, зажав другой под горло пакет с пивом и колбасой.

— Да бауэр пахал на задворках, я ему махаю, махаю... далеко, пока он подъехал... а колодезь у него на замке, — соврал первое, что пришло в голову и прикинулся валенком Виталик, забираясь на высокий бампер “Урала”, залить воду в радиатор.

— “На задворках... махаю... колодезь”... деревня! — недовольно передразнил Генерал-капитан. — А что у тебя тут? — осторожно, двумя пальцами, поднял с земли за ушки пакет, аккуратно приставленный Виталиком к переднему колесу грузовика.

— Да немец что-то сунул в руки, когда я побѣг обратно с водой, — сказал Виталик, вытирая пилоткой пот со лба. “Вот влепит под горячую руку пяток нарядов вне очереди, карячясь потом со шваброй в казарме после отбоя!” — подумал Виталик, физически ощущая, как нарастает, готовый вырваться огнѣм, нештутейный гнев в капитане.

— Что-то в руки сунул! А если он тебе гранату в штаны сунет, так и побежишь придурком! — заорал капитан. — О, пиво, запотевшее... холодненькое, колбаска домашняя! — заглянув в пакет, резко убавил обороты Генерал-капитан, — не отравленное? — сурово пронзил взглядом Виталика.

— Давайте на мне испробуем, товарищ капитан, — облизнул сухие губы Виталик.

— Ты у меня испробуешь, ты у меня испробуешь наряд вне очереди! — машинально, смягчившимся голосом пропел Генерал-капитан, точным, отработанным движением срывая крышку с бутылки о край подножки. — Хорошо, рядовой, на жаре холоденького пивка принять!

Виталик понял, гроза миновала, и с облегчением вздохнул.

— Не вздыхай, — сделал несколько крупных глотков из бутылки Генерал-капитан, — пива я тебе всё равно не дам, ты за рулем, а вот колбаски пожуй, заслужил! — и протянул пакет Виталику.

После армии Виталик как-то очень тихо и незаметно женился. А что оставалось делать. Не шлаться же с парнями по деревенским улицам с переносным магнитофоном до рассвета, не травить же по лавочкам, лужая семечки, байки и анекдоты, не пить же портвешок до одури и беспричинных драк до увечий. Нет, Виталик был другой, ему нравилась полезная, правильная жизнь. Во всём размеренная, во всём аккуратная и с какой-то своей завершённой ладностью. Скажем, копает Виталик грядки, так он их так приподнимет, глубоко, на весь штык, врезая лопату в землю и перекидывая пласт повыше, так тщательно потом каждый комочек руками разомнет, граблями любовно разрыхлит и обхлопает для стойкости лопатой по боковинам, что вырастут в огороде, выровненные в строгую линейку, не грядки, а настоящие клумбы в каком-нибудь ухоженном немецком городке. Любо-дорого посмотреть. Или колет он дрова на дворе, так поленья бросает не как попалю, куда рука “поширше маханёт”, а в кучку поладнее и повыше прилаживает, чтоб лужайку меньше засорять. А когда дрова подсохнут, перенесёт их в поленицу в сарай, и каждую щепку, завиток берёсты соберёт в корзину, и на дворе чисто, и на растопку зимой согдится.

Не любил Виталик в жизни беспорядок, неряшливость или разор какой... Всё в нем от “бардака” протестовало, появлялось желание поправить, сделать хорошо. Но Виталик понимал, что он очень “маленький” человек, и потому особо не высовывался, не лез без команды вперёд... Хотя душа болела... Случится, пошлют его на машине сено перевозить куда-нибудь в дальнюю, “неперспективную” деревеньку, где остались три одинокие бабки куковать, а дома все брошенные стоят, так пока разнорабочие сено в кучов наваливают, Виталик пройдётся по оставленным избам, повздыхает, что ушла большая и налаженная жизнь, и ничего другого не придумает, как что-нибудь полезное найти, сохранить или запомнить, с расчётом на будущее, так сказать. Хоть так, чтоб не всё пропало бесследно. Однажды подобрал в старом сарае топор с подгнившим топорщицем и немецким клеймом двадцать пятого года. Оказался топор крупновским, Виталик вымочил его в керосине, очистил от ржавчины, насадил на новое топорщице, наточил в кузнице на электрическом точале, и стал топор острее бритвы — одно удовольствие было им с деревом работать. А с деревом Виталику очень по душе пришлось зимними вечерами заниматься. Полюбилось ему всякие финтифлюшки деревянные вырезать — наличники, балясины, деревянные кружева на фронтон.

Незаметно Виталик с головой ушел в хозяйство, закопался в домашних делах так, что даже мать, неторопливая, степенная женщина, сама дальше дома-огорода не любившая никуда высовываться, однажды не выдержала: “Ты бы, сынок, хоть в клуб сходил, промялся... не старый ещё”. А отец, всю жизнь проходивший в кладовщиках, всегда на людях, бойкий и речистый, сидя как-то на лавочке и наблюдая, как Виталик сноровисто наводит метлой порядок во дворе, насмешливо бросил сыну: “Тебе бы вот так, как с метлой, с девками научиться управляться... Я в твои годы ни одной гулянки не пропускал, мама ты вылитый!” Виталик обиделся, но смолчал, хотя что-то в голове у него щёлкнуло, и он подумал о Томке Лисицыной, бухгалтерше в совхозной конторе, присланной недавно после техникума к ним в Романово. У Томки были добрые, всегда весело и дружелюбно смотревшие из-под густых, чёрных бровок, сияющие бирюзовые глазки. И Виталику они нравились, хотя ни статью, ни фигурой Томка не удалась. Угадывалась в Томке будущая колобковатая округлость. Но Виталик сам был среднего росточка,

плотный крепышок, и в этом смысле, понимал Виталик, они были пара. К тому времени Виталика, как башковитого и непьющего работника, отправили от совхоза на шестимесячные курсы автокрановщиков, и он стал частенько бывать в бухгалтерии то с командировочными отчетами, то за очередной стипендией. Томка всегда посматривала на него из-за своего стола ласково и участливо, когда не было старшей, бралась ему помогать. Виталик обычно тушевался в конторе среди женщин, мямлил что-то о печатях и подписях, незаметно вытирая вспотевшие ладони о штаны. С Томкой у него с оформлением бумаг выходило всегда ловко и без напряжения.

Виталик стал снова появляться в клубе и несколько раз проводил Томку до квартиры, к одинокому дому бабы Зои Котовой, куда Томку определили, как молодого специалиста, на постой. Дом стоял на отлогом берегу перерезавшего село ручья, заросшего непролазными травами, ольхой, бузиной и черёмухой; пышно цветущее и до болей в висках пахнущее весной раздолье для соловьиных страстей. Обычно перед тем, как расстаться, Виталик и Томка садились на скамейку под самыми окнами бабызоино дома, вглядывались в голубовато-зелёное свечение умирающей и нарождающейся зари, вслушивались в соловьиные, страстные песенные схватки, неловко молчали. Виталик веточкой отгонял комаров, Томка сочно шлёпала их ладошкой на голых икрах. Так бы они, видно, промолчали бы ещё очень долго, если б не баба Зоя, высокая, крепкая старуха с властным, решительным лицом боярыни Морозовой.

— Ты, вот что, касатик, либо женись, либо в другое место ходи соловьев слушать! — выросла она однажды в ночи, словно из-под земли, грозной фурией перед заробевшим Виталиком. — Томка девка честная, работающая и чисто плотная... Бери, не пожалеешь! Или — другую поищи!

Виталик подумал-подумал и женился. Без ора и шума всех этих бестолковых деревенских свадеб, гудений клаксонами свадебного поезда, красных лент через плечо шаферов, двухдневного пьянства, фальшивых братаний с невестинной родней и всей этой кутерьмы и суеты, от которых нестерпимо болит голова и свадьба превращается в испытание воли и силы духа брачующихся. А сколько денег, на мотоцикл с коляской, улетает просто на ветер. Виталик подумал и предпочёл скромный вечерок в родительском доме, где с его стороны был старший брат Федька с женой, родители само собой, да старый дружок ещё со школы — он был свидетелем — местный силач, гулёна и большой авторитет среди парней, широкогрудый, весь прошнурованный мускулами, налитой силушкой немеряной Ванька Кузнецов. С невестинной стороны приехала из соседнего района мать Томки, простая, без фокусов женщина, сразу полюбившая “рассудительного” зятя и от всей души одарившая молодых “на обзаведеньице” ста рублями. Отца, как выяснилось, у Томки не было. Он был, конечно, но давно состоял с тещей в разводе, где-то “странствовал по свету”, так что его уже все и забыли. Приезжал ещё на бракосочетание Томкин брат из Москвы Николай, со своей благоверной, толковый мужик, как показалось Виталику, он возил на “Волге” директора завода в столице. Внимательно и строго оглядывала присутствующих из-под очков свидетельница со стороны Томки, тоже недавно присланная в Романово после пединститута, учительница химии Любовь Максимовна. Некоторое время, пока не подготовили комнату в школьном общежитии, она также была на постое у бабы Зои Котовой, и девчонки задружились, хотя Любовь Максимовна была и с высшим образованием... Тихо-мирно посидели, не напираясь, познакомились, часам к двум ночи разошлись.

Вскоре ему дали автокран. Романово бурно разрасталось. К двум улочкам тесно обсевших склоны ручья старых, седых изб с садами-огородами, начали активно пристраивать, “придавать селу стройность и завершённость”, как говорил директор совхоза Сергей Васильевич Дьяконов, ряды типовых, двухквартирных домов. На горке, вверх по ручью, заложили новую контору, детский сад, школу, дом быта, универмаг, котельную, баню, с полсотни кирпичных и панельных двухэтажек. Работы для Виталика хватало, он был всегда нарасхват. С утра краном блоки под фундамент укладывает, люльки с кирпичом и раствором тягает, вечером панели поднимает, одну на другую

ладит — “майна! вира!”. Рядом с большой совхозной стройкой зашевелился и частный сектор. Кто-то старый дом подновлял, кто-то новый ладил. Все зовут Виталика, кран, он любую тяжесть играючи поднимет, куда надо перенесёт и установит. Стал накапливаться к зарплате солидный приварок, копеечка в кармане завелась. Тут-то в Виталике и проклюнулась снова мечта о собственном каменном доме. Но прежде Виталика, как молодого семьянина и ударника труда, премировали квартирой в новом двухквартирном доме. Виталик был рад, Томка к тому времени родила Андрюху, первенца, у родителей стало тесно. Какое-никакое (ему не нравилось, раздражало соседство через стенку), а всё своё, можно сказать, жильё, думал Виталик, а там поживём, деньгиат поднакопим, и, глядишь, лет через пять-шесть можно будет и за свой, отдельный, кирпичный дом братьяся. Чем-то похожий на тот, что “сфотографировал” он тогда у немца, у этого Карла.

Стал Виталик понемногу, по десятке-другой, каждый месяц на книжку откладывать. Вроде и невелика сумма (всего-то на три бутылки), а за год, однако, больше тысячи набегало. Томка его мечты полностью разделяла. Она действительно оказалась неглупой и покладистой бабой. “Виталик да Виталик, — щебечет, — как ты это хорошо придумал, я согласна...” — и всё глазками бирюзовыми Виталика оглаживает. Ночью с деликатной нежностью прижмется к плечу: “А на втором этаже у нас обязательно будет комната для детей, такая... я по телевизору смотрела, с ковром на полу... ты им кроваток с резными спинками наделаешь...”. Виталик скупо отвечал: “Угу!”. А про себя удовлетворенно думал: “Понимает все, и приметливая... по телевизору смотрела!”

Через шесть лет на книжке скопилась приличная сумма. “На новенькие “Жигули” хватит”, — не без приятности оценивал Виталик. Тут и Маринка, дочка, как по заказу, родилась. Пора начинать, решил Виталик... с какой-то неожиданной занозой в сердце. Что-то подсказывало ему в последнее время, что он то ли проворонил нужный момент, то ли по обстоятельствам, не зависящим от него, начинал дело заведомо невыполнимое. Раздвоенность и хмарь какая-то в душу закралась. Всё вокруг неясно шевелилось, кривилось, пучилось и поворачивалось полной непредсказуемостью. Пошел к Дьяконову, подумал через совхоз кирпичом разжигаться, прикинул, дешевле выйдет, на доставку не надо будет тратиться. Сергей Васильевич характерно поскрёб указательным пальцем крупный, облысевший лоб: “Не понимаю, что творится, фонды по живому режут, скоро листа шифера не допросишься, а кирпича уже полгода нет. Страна работает, а того гляди, спички пропадут...” И, усмехнувшись, пристально посмотрел на Виталика: “Ты газеты читаешь, телевизор смотришь? Чувствуешь, куда всё клонится?!” Виталик ушёл от беспредметного разговора, рассусоливать о том, что нельзя было потрогать руками, не любил, главное он понял — кирпича в совхозе нет. Дьяконов был мужик честный и конкретный, поэтому и держался так долго, тридцать лет у руля — если говорил да, то да, нет, так нет. А потом он приходился Смирновым хоть и какой-то дальней по женской линии, но всё же родней. Виталик чувствовал, что дядя Сережа (так он звал Дьяконова с детства) его всегда незаметно, но поддерживает. Помог бы и в этот раз, если было бы чем...

После встречи с Дьяконовым Виталик через день решил съездить на базу райпотребсоюза, может, там удастся кирпич достать, пусть и дороже, но надо было спешить. Виталика охватила отчаянная лихорадка добытчика, хотя что-то уже однозначно говорило ему, что добывать-то особенно и нечего. “Спохватился, разиня! Дождался, досиделся!”. И действительно, на базе не то что кирпича, гвоздей, обыкновенных железных гвоздей, которые раньше отпускались ящиками, на глазок, не удалось выписать. Знакомый завскладом сказал, что снабжение стало, как в Гражданскую войну, и для наглядности показал пустое хранилище, где, как в издевку, висели в углу никому не нужные дуги, хомуты, уздечки, вожжи и стояли деревянные бочки с колесным дегтем. “Зря улыбаешься... Покупай пока есть! — сказал с печальным вздохом завскладом. — Чует моё сердце, к лошадам скоро вернёмся!”

“Неужели пролетел? Неужели порядка больше не будет? А в беспорядке что путное сделаешь...” — несколько дней, до приезда шурина из Москвы, думал Виталик, бестолково шуриша, пробуя вчитываться в единственную выписываемую им газету. В газете писали, что поступаться принципами нельзя, и предупреждали о разрушении народного хозяйства, чуть ли не всего государства. Правильно, соглашался Виталик и, вспоминая о кирпиче, думал, что развал уже начался. Потом брал другую газетку, которую ему регулярно приносил Ваньке из города его брат, художник Вениамин, без опаски, нахраписто и вызывающе ругающий на чём свет стоит “закравшихся коммуниак”. Читал в этой газете, что пришла пора менять командно-административную систему, смелее внедрять хозрасчет и кооперативы, демократические формы управления, гласность, не бояться инициативы, освободить человека от оков замшелого догматизма, и, метительно раздражаясь, тоже соглашался с писателями, что правда, то правда, довели “партократы” страну до ручки, гнать их надо всех. Потом ловил себя на мысли, что запутывался, кого гнать и как гнать, когда и так всё съшется, какими принципами не надо поступаться... и включал телевизор. А там, занимая очередь перед микрофоном, говорили и говорили народные депутаты. И опять всё мешалось, пропади они пропадом эти депутаты, в голове. Ругал кто-то дребезжащим, заикающимся голоском армию за Афганистан, он был против, армия выполняла приказ и по рассказам тех, кто побывал там, ребята воевали хорошо, честно, а по словам депутата выходило, что все они были чуть ли не убийцы, бомбили и обстреливали мирные кишлаки, грабили, мародёрствовали, торговали наркотиками, своих раненых, как последние гады, бросали на поле боя. “Тебя бы туда, придурка, хоть на пару деньков! Сразу бы поумнел!” — негодовал Виталик. Выходил на трибуну кто-то лысый и горластый и начинал задиристо, убедительно, надо сказать, бросаться словами, как скрутили мужика по рукам и ногам, замордовали приказами и глупыми инструкциями, не дают развернуться, что наряду с колхозами-совхозами надо фермерство внедрять, и Виталик с ним соглашался. Начинал вдруг с непонятным воодушевлением примериваться к роли фермера-единоличника, распаялся: “Вы только дайте нам земли, да не жадничайте, вон её сколько! Да тракторишка какой-нибудь завалиющийся на первых порах, да пару плужков с культиваторами, да не лезьте с вечными указивками своими, как пахать-сеять, и, действительно, мужики, ух, развернутся! Вон этот, лысый-то, что говорит — фермеры в России до революции кормили пол-Европы, сливочным маслом в Сибири тележные оси мазали! А сейчас что? За сливочное масло, чтобы только пожрать, в очередях друг друга готовы поубивать. Действительно, фермерство нам надо! На своём-то поле каждый будет порасторопнее крутиться”.

Но мысль о кирпиче, который так хотелось добыть во что бы то ни стало, о неразберихе, закрубившейся вдруг рядом, охлаждала воображение Виталика, вытаскивала из головы все эти горячечные мечтания о фермерстве. Тут надо было думать, что делать сейчас, конкретно, когда главное, со страхом признавался себе Виталик, в том, что деньги скоплены, и немалые, и как их теперь на что-то дельное потратить, если с домом вообще вдруг всё сорвётся? И Виталик с ещё большим нетерпением стал ждать к субботе шурина. “Колька, он в Москве, при начальстве, может, что знает там, подскажет...”

Но Колька тоже ничего не знал. Нет, кое-что он знал, даже, как выяснилось, многие очень серьезные вещи знал, но не то, что хотел узнать Виталик. А Виталика интересовало, когда на складах снова появятся кирпич, шифер, гвозди. А то, похоже, бардак начинается, и когда руководство начнёт наводить порядок?

— Много знать хочешь, брат! — со значением и задушевно (они, породившись, как-то сразу закорешились) сказал Колька — крепко сбитый, с худым, широкоскулым лицом, сорокалетний мужик — когда они, распаренные, после бани “накатили” по рюмке на уютной, чистенькой терраске у Виталика. — У них там наверху полный раскардаж, они сами не знают, что теперь будет и что вообще делать.

— Как не знают? — недоверчиво посмотрел Виталик — Там же в министерствах планируют всё.

— Планировали... — энергично затряс влажной от пота рубахой на груди Колька, поудобнее откидываясь на резную спинку деревянного диванчика, сделанного любовно минувшей зимой Виталиком, — а теперь всё кувирком, склады забиты продукцией, а до потребителя ничего не доходит, а если и отгружают, то всё где-то или пропадает, или через год пердячьим паром к месту назначения добирается. — Колька понизил голос: — Тайный саботаж кругом, людей дефицитом злят, страну валют...

— Кто? — тихо спросил Виталик.

— Те, кто с американцами снюхался, — веско сказал Колька, — под ширмой перестройки, по заданию оттуда... из-за океана, они хотят Союз развалить, чтобы одни американцы были хозяевами на шарике, вот и путают нам все карты, гласность и демократизацию придумали, народ на власть науськивают.

— Да уж... — неопределенно протянул Виталик, понимая, что сейчас шурин, видимо, повторяет слова кого-то очень важного, — даже отсюда видать. Тут Ванька Кузнецов приносил газетку, так там, как это? “Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с красным знаменем цвета одного”... — процитировал Виталик, — ну, это уж совсем... так у нас, действительно, все развалит.

— Не должно, не допустят, — решительно замотал головой Колька, — хотя, — махнул он рукой, — там у них, говорят, агенты влияния верх берут, а Мишка Меченый оказался полным импотентом... Если не снимут, тут такое начнётся! Всё под откос полетит!

— Да уже летит, — помрачнел Виталик, — только нам-то что делать? — И снова вернулся к истории с кирпичом, уже рассказанной Кольке в бане.

— Попробую переговорить с шефом, может, он чем поможет... мужик солидный, со связями, — пощупал Виталика бирюзовыми, как у Томки, глазами Колька. Но по тому, как сказано было, и по какой-то скользкой рассеянности во взгляде Кольки, Виталик понял, что говорится это просто так, когда по делу сказать нечего. И не стал открываться шурину о накопленных деньгах, которые, нереализованные, в нарастающем хаосе, не давали ему покоя.

Виталик продолжал, как и все романовцы, по привычке ходить на работу, получал наряды, ехал на своем автокране на коттеджи за околицей, где что-то ещё пытались гоношить, начали новую улицу, но чувствовал каждый день, как слабеет, распрямляется в пустоту заведённая пружина привычной жизни, как замирает наработанный порядок и уклад. Приедет на стройку, где обычно этого нет, того нет, посидит с безразлично покуривающими мужиками на штабелях бетонных панелей, поговорит о том о сём. Потом бригадир скажет, подражая известному юмористу: “Кирпич ёк, цемент ёк, пошли обедать”. Однажды вечером после работы, если теперь можно было называть работой то, что он делал, ноги почему-то сами привели его в контору к Дьяконову, на огонёк. Сергей Васильевич был не в меру грустен и задумчив, показалось, как-то особенно тепло поздоровался с Виталиком, обрадовался. В кабинете у Дьяконова было сумрачно и пусто, горела только настольная лампа с металлическим колпаком, ярко высвечивая контрастным низовым светом блестящий шёлк красно-малиновых, с тяжёлыми жёлтыми кистями, знамен в углу. Виталик знал, что это были особые знамёна, переданные совхозу “на вечное хранение за успехи в социалистическом соревновании”. Привычные слова, они как-то сами собой, машинально, выстроились у него в сознании с каким-то неожиданным, странным предчувствием, что, возможно, он видит их в последний раз, и ему стало чего-то очень жаль.

— Вот перебираю бумажки, порядок навожу, — кивнул Сергей Васильевич на стопку разноцветных канцелярских папок на столе с тесёмками, завязанными бантиком, — а лучше сказать, итоги подвожу... Ты по делу или так? — бегло взглянул он поверх лампы на Виталика.

— Так... — вяло сказал Виталик, оглядывая, как в первый раз, кабинет Дьяконова.

— Грустишь, значит?.. Бывает. Я вот тоже, брат Виталий, грущу... — прокашлялся наигранным смешком директор совхоза. — Первый раз за тридцать лет не спустили план на следующий год. А куда русский человек без плана? Никуда... на печку заберется, не сгонишь потом... План — он нашему брату спать не дает, кровь разгоняет.

Виталик растерянно посмотрел на Дьяконова и неожиданно наивно, по-детски, как робеющий ученик учителя, спросил:

— Что будет-то теперь, дядя Серёж?

Дьяконов завязал бантиком очередную папку, меланхолично взвесил её на пухлой белой ладони:

— Вот здесь вся документация по газификации Романова на будущий год... Осточертело всем дровишки палить, тысячу лет палим... сколько возни с ними — привези, напили, расколи, в поленищу сложи... А тут спичку к форсунке поднес и только регулируй потом температуру в доме. Думал, сделаю последнее хорошее дело и на пенсию, на заслуженный отдых... Что будет, говоришь? — отложил Дьяконов папку в сторону и забарабанил по ней короткими, аккуратно-прямыми пальцами, невесело улыбнулся: — Легче сказать, чего не будет... Газа, похоже, в Романове уже никогда не будет. Зато рынок будет, племяш ты мой дорогой!

Виталик, вытягиваясь над потоком света от лампы, вопросительно взглянул на Дьяконова.

— Рынок — это, брат мой, сурово... — нехотя ответил Дьяконов. — Рынок — это когда выживает тот, у кого мозги хитрее, лапы сильнее, зубы острее... Рынок — это теперешняя жизнь с точностью до наоборот... Опасная игра затевается, — вздохнул он, — опасно это, на полном ходу дать полный назад. В щепки всё разнесет. — Дьяконов опустил голову, привычно поскрёб плешивый лоб. — Горбачёв доболтался, Ельцин его вот-вот спихнет. За Ельциным стоят молодые волки... хунвейбины. Они задерут подол России-матушке, как уже один раз делали их предки... По-моему, они идут ещё и поживиться крепко — разворуют они всё! — вскинул голову Дьяконов. — Такой у нас будет рынок!

Виталик с сожалением подумал, что не всё понимает, о чём говорит Дьяконов. “Не догоняю!” — признался про себя.

— Как это разворуют? — заерзал он на стуле. — Вот вы, мы... тут работали-работали, и вдруг все разворуют... А что не работать и дальше, как работали?

— Жалею, что так и не отправил тебя в свое время в институт. Сколько раз предлагал! С направлением от совхоза давно бы уже и поступил, и закончил... — недовольно посмотрел на Виталика Дьяконов. — Ну, в общем, проще говоря, будет у нас скоро, дружище, не социализм, а капитализм.

— Непонятно как-то... чудно получается, — справился с растерянностью Виталик, — строили-строили социализм, и вдруг все поменять наоборот... капитализм... Зачем?

— Правильно, вот и я о том же — зачем? Лучше, чем сейчас, в деревне, да и вообще в России, никогда не жили! — сказал вдруг горячо Дьяконов. — Надо было осторожно улучшать, выправлять систему, она рабочая и справедливая, в целом пришлась по характеру нашему народу. Нет, взяли осатанело ломать всё... крушить. Почему? Я понял одно, они ненавидят, как-то очень люто ненавидят, наше государство, вот такое огромное, богатое, сильное... что бы они там ни говорили — развивающееся... И самое главное, не дающее им безнаказанно воровать! Система так устроена! Поэтому они решились стереть её до основания, снова взяв власть... И вот, похоже, берут, взяли уже! Теперь они будут доводить государство до состояния дистрофика, это у них называется рынок внедрять... И под шумок раздевать страну донага, карманы набивать. Дай Бог, чтоб я оказался неправ, но слушали мы тут недавно в области на совещании одного рыночника из Москвы, к Ельцину, как нам сказали, приближенного, так он такое нёс! Представляешь, деревню назвал “агроулагом”, “чёрной дырой”! После этого мне стало окончательно ясно... возьмутся за Россию они основательно... не долго осталось.

Напряженно вслушивался Виталик в слова многоопытного, пожившего, выдавшего всякое, Дьяконова. Виталик, как и многие в Романове, искренне уважал, даже чтил своего директора. Умный и грамотный был Дьяконов мужик, справедливый. Слово его всегда оказывалось почему-то верным... Слушая директора, Виталик ощущал какое-то общее беспокойство и страх. Он вновь подумал о каменном доме, о том, что надо было хотя бы на год-два раньше начинать, глядишь бы, и успел... И сожаление об упущенном болезненно ворохнулось в нём... Опять же деньги, что делать с ними теперь? Спросить, не спросить? Виталик потушился, втянул голову в плечи и передвинулся вместе со стулом из полосы света в тень.

— Говорят, фермеров поднимать будут... — неожиданно сказал он из полумрака. — Один депутат по телевизору рассказывал, что до революции наши фермеры пол-Европы хлебом кормили...

Дьяконов удивленно изогнулся и как-то снизу, из-под лампы внимательно посмотрел на Виталика.

— Не похожи они на тех, что приходят что-то поднимать, — нахмурился он. — Фермерство тоже требует много денег, не меньше, чем колхозы-совхозы. Этих денег русской деревне не дадут... Русская деревня им не нужна, они её всегда презирали... и боялись. Сейчас им надо что-то красивое посулить народу, сбить деревенского человека с толку, чтоб развалить побыстрее то, что организует, воспитывает и развивает человека на земле. Поднимает его на серьёзный, современный уровень и в работе, и в жизни. Они же хотят раздёрнуть, распустить нас на нитки, как они говорят, атомизировать, погрузить поодиночке в тупую борьбу за биологическое выживание. Вот это и будет их фермерство... Так что готовься жилы рвать, чтоб с голоду не помереть! — насмешливо взгляделся в Виталика Дьяконов. — Дом подлатай, коровёнку, пока есть возможность, ещё одну прикупи и зарывайся в навоз! Деревня поехала в обратную сторону! Куда-то к царю Гороху! — Дьяконов стал нервно перебирать карандаши в гнезде письменного прибора. — А что касается того, что, мол, хлебом пол-Европы кормили... Может, кого-то и кормили, только сами его вдоволь не ели. Я ещё помню стариков, которые рассказывали, что хлебушка до марта едва хватало, в прямом смысле слова — голодали. Голод целые губернии охватывал. Сказочников много развелось сейчас... Впрочем, — досадливо махнул рукой Дьяконов, — когда разваливают государство, всегда появляются удивительные сказки либо о светлом будущем, либо о чудесном прошлом.

Виталик вновь поймал себя на мысли, что мало понимает из того, о чём говорит директор. Кроме слов, что надо готовиться выживать. Он и сам это чувствовал, и даже начал запасать впрок сахар, крупу, стиральный порошок, мыло, свечи, спички... Но вот деньги? Снова подумал о них проклятых Виталик и неожиданно решился:

— Я на дом — помните, дядя Сереж, про кирпич спрашивал? — восемь тысяч накопил... Куда их теперь? Не пропадут?

Дьяконов отвернул лампу в сторону, строго посмотрел на Виталика.

— Что же ты раньше молчал? Восемь тысяч хорошие деньги... Могут и пропасть, государство на волоске держится... Слушай, есть одна мысль! — мягко шлёпнул ладонью по столу Дьяконов. — Ты на коттеджах работаешь, согласишься — жильё может получиться на уровне, девяносто квадратов общая площадь, это уже не двухквартирные домики... но совхоз их, видимо, уже не осилит. Покушай такой... нестроенный, тысяч семь-восемь он как раз и будет стоить, потом как-нибудь доведёшь до ума, отделаешь, парень ты рукастый.

Виталик долго смотрел в пол, прикидывал. Коробку поставили с крышей — это хорошо, но электричество, воду не подвели... начнешь доделывать, ещё тысячи три не меньше вбухать надо, где их взять? А потом, типовые они, эти коттеджи, панельные, всё равно какие-то унылые! Нет, думал Виталик, не то это всё, не то... И, может, ещё всё наладится? Может, превеличивает всё Дьяконов? Как бы всё-таки хотелось иметь свой, каменный... с душой, для себя построенный дом! И отказался. Как он потом жалел об этом!

Где-то через месяц, морозным декабрьским вечером, когда, управившись со скотиной, Виталик присел перед телевизором посмотреть, как всегда на ночь, программу “Время”. Вот те на! До него не сразу дошло увиденное и услышанное. Показали как-то мельком, ничего не разобрав, какое-то заседание где-то в лесу, где Ельцин и главные хохол и белорус распустили Советский Союз. Нет, он вначале ничего не понял, “денонсация (он и слова-то такого не знал) союзного договора”, потом вдруг “США уведомлены о создании Содружества Независимых Государств — СНГ” вместо СССР. Нет! Этого не может быть! Виталик побежал на кухню путанно пересказывать всё Томке. Она, насколько уж была далека от политики, и то сразу заинтересовалась, и посоветовала Виталику (вот ведь умная баба!) послушать “Голос Америки”. Виталик достал с шифоньера дембельский, купленный ещё в военторге в Германии “VEF” и пошарил на коротких волнах зарубежные радиостанции. Нет, всё правильно, везде возбуждённо, и, как показалось Виталику, радостно верещали, что Советский Союз распущен. Прав оказался Дьяконов, на волоске всё висело...

А потом прошло ещё немного времени, и Горбачёв ушёл из президентов — “добровольно сложил полномочия”... Показали, как над Кремлем спустился красный флаг и подняли трёхцветный. На следующий день после этого Виталик встретил на улице Ваньку Кузнецова. Ванька был с хорошим бодуна, весь какой-то взбаламученный, злой, с нарочитой лихостью смял до боли своей железной ладонью руку Виталика и с подмигиваниями пропел:

*Пили мы и горькую,
Пили мы и сладкую.
Что же ты наделала,
Голова с заплаткою?!*

— Слушай, корефан, а ведь мы с тобой присягали Советскому Союзу, — мутно посмотрел он на Виталика. — Чему теперь, если что, служить будем? И что он их всех не перехватал в этой Пуще?! Имел право, этот обсос меченый!.. Они же заговор устроили! Все голосовали весной за Советский Союз! Это госпереворот! Даже Венька наш согласился... госизмена!

Виталик уклонился от опасного разговора, да и чего баланду травить, когда всё уже там, наверху, решили и ничего не поправишь... Он спешил на почту, деньги снимать. Решился всё-таки... когда они, рублики-то, на руках, спокойнее как-то. Но на почте заведующая Зинаида Митрофановна, необъятных размеров женщина, с добрым, сытым лицом и внимательными, бдительными глазками, только сочувственно, с пониманием, посмотрела на него из полукружья окошка в стеклянной перегородке: такие деньги надо заранее заказывать в банке, а банк после всей этой чехарды вот уже неделю не работает. Виталик, чуя неладное, чертыхнулся про себя, оставил заявление и ни с чем вернулся домой.

А затем тихо и вкрадчиво, без обычной новогодней приподнятости и суеты, с ельцинскими “дорогими россиянами” вместо “дорогих товарищей” по телевизору, в серой, туманной январской оттепели пришел, как коварный баскак, 1992 год. Где-то в середине января Виталик получил на почте свои кровные восемь тысяч. Зинаида Митрофановна отчитала Виталику еще красными советскими червонцами все, что лежало у него на книжке. Вздохнула, посмотрев пристально и сострадательно, Виталику в глаза: “Может, не надо забирать-то сейчас? Пусть бы себе и лежали... может, какая компенсация будет? А то вон куда все двинулось, в городе килограмм мяса уже сто рублей!”.

В конце месяца он зарезал барана и поехал на рынок продавать. Действительно, парная баранинка уходила по сто двадцать рубликов за кило. Виталик выручил тогда сразу две тысячи. Но когда возвращался на автобусе домой, вдруг с ужасом понял, что его восемь тысяч, которые он копил полжизни, тянут всего-то на четыре “современных” барана! Виталик почувствовал себя нагло, самым бессовестным образом, раздетым и обобраным и, вернувшись домой, с нарочитой веселостью, хвастливо-оживлённо (во, сколько разом подвалило!) передавая кругленькую сумму Томке, попросил

неожиданно выпить, и как-то очень скоро тяжело и безрадостно захмелев, украдкой и скупно расплакался.

Вскоре совхоз переименовали в какое-то ООО “Колос”, Дьяконов ушел с работы, выделили каждому работнику по шесть гектаров земли, но где конкретно, не сказали, перестали платить зарплату, к осени порезали и распродали за долги всех совхозных коров, “приватизировали” по-тихому технику (Виталику тогда, как бывшему “передовику”, достался колесный трактор), обанкротились и разбрелись каждый по своим дворам. Так Виталик стал, как говорили при старой власти, единоличником. Тут он окончательно понял, что деньги в кассе ему уже не видать никогда, а детей надо было как-то поднимать, вспомнил Дьяконова, ещё раз мысленно отдав должное его прозорливости, и с головой “зарылся в навоз”.

А сам Дьяконов неожиданно умер. Все был вроде ничего, крепким смотрелся еще мужиком. После совхоза, правда, похудел, живот немного сбросил, но и помолодел от этого как-то, выглядеть стал свежее. Вполне бодрым шагом пройдет мимо окон за хлебом в магазин, так же уверенно обратно с сеткой, набитой буханками, прошагает. При встречах как обычно приветливо поздоровается, о семье-доме расспросит, про себя что-нибудь с юмором расскажет. Как, например, ругала тут его жена, что он, мол, ничего не делает, только спит в кресле сутками. А маленький внук Никита после этого спросил у бабушки, а где же рядом с дедушкой утки? Однажды, как бы между прочем, обронил, что сын у него в Москве “докторскую защитил”. По тому, как сказал это обычно очень сдержанный Дьяконов, по его неожиданно повлажневшим глазам, Виталик понял, что всегда крутлый отличник, их “земеля”, выпускник их деревенской школы, Юрка Дьяконов, добился в жизни чего-то серьёзного.

Виталик видел, что доживает когда-то первый и уважаемый человек в округе, в общем-то всеми забытый и никому не нужный. Иногда Виталик вспоминал старика, думал, что неплохо бы зайти, помочь, может, чем, но в суете все откладывал и откладывал на потом, пока Дьяконов не умер от внезапного инсульта. Так ли уж внезапного? Потом как-то местная фельдшерница Светка Пономарёва рассказала, что Дьяконов после ликвидации и разграбления совхоза стал резко страдать повышенным давлением. А смертельный удар случился, когда при странном стечении обстоятельств сгорела совхозная контора вместе с завоеванными им и романовцами в “трудовых битвах” красными знаменами...

Жаль было Дьяконова Виталику, было к кому обратиться, поговорить серьёзно, дельное слово услышать... как осиротел. Кроме Дьяконова оставался в Романове еще Ванька Кузнецов, с кем можно было отвести душу. Но дружба с Ванькой обернулась неожиданно враждой и ненавистью. Кто бы мог подумать, что всё так получится...

После того вечера, когда Виталик расписался с Томкой, женился вскоре и Ванька Кузнецов на той самой учительнице, Любове Максимовне, что была со стороны Томки свидетельницей. Тогда Ванька, оказывается, пошел провожать Любовь Максимовну в учительское общежитие выкошенными лугами старого села, и в конне сена на чьих-то задворках случился у них грех. Через три месяца Ванька, как честный человек, не дожидаясь пока у Любове Максимовны вылезет пузо, повел её “под венец”. Женившись, Ванька, будучи завмастерскими, тоже получил вне очереди квартиру в доме на две семьи на одной улице с Виталиком, буквально напротив, через дорогу. Соседство только подогрело дружбу. Они часто ездили семьями на Ванькином служебном “Москвиче” купаться на дальние пруды, вдвоем, “без баб”, порыбачить, поохотиться... Праздники, особенно Новый год, любили встречать вместе.

Но вот пришли новые времена, общественное отменили, вернули снова частное. Всё с ног на голову. Начинать с нуля... Но делать нечего, надо было как-то выживать. И каждый принялся выживать по-своему...

Виталик по старинке ухватился за скотину. Дедов и прадедов из нужды выводила и теперь с голоду не даст помереть, решил он. Завел вторую корову, потом третью, двух боровков, овец, гусей, уток. И правда, года через три, скопив денег от вырученных на рынке молока, творога, сметаны,

мяса, Виталик купил подержанную “Волгу” у шурина на заводе, где тоже всё рушилось и распродалось.

Ванька в “навозе ковыряться” не любил, ударился в пчеловодство. Развел пасеку в двадцать ульев и прикупил вскорости еще крепенький “Форд” с кузовком. Теперь он летом вывозил пчёл на медосбор в бывшую барскую усадьбу, километрах в семи от Романова, где каким-то чудом сохранились столетние липовые аллеи, обильный, ежегодный взяток с которых позволял Ваньке уже мечтать о пристройке к дому и новой терраске. Для охраны пасеки был куплен за хорошие деньги в городе жгуче-черный, со светло-коричневыми подпалинами, щенок ротвейлера. И вырос мощный, клыкастый зверь, весь из ярости и упругой ловкости, остервенело и грозно носящийся черным дьяволом, с дымно парящим, красным языком, без лая по проволоке, натянутой по диагонали пасеки. Его неутомимое, опасно-беззвучное скольжение по проволоке, бесовское сверкание глазами в ночи почему-то тревожили Виталика. “Не дай Бог, сорвётся! Насмерть порвёт!” — с предусмотрительной опаской думал он, прислушиваясь от своего дома к беснованиям страшного пса в Ванькином огороде.

И однажды пёс сорвался. Странным образом, как потом выяснилось, перетерлось стальное кольцо, соединяющее ременный поводок от ошейника с проволокой. Одним прыжком перемахнув полутораметровый забор, отделяющий Ванькин двор от улицы, молниеносно растерзав несколько куриц, лакомящихся после дождя жирными червями на тропинке, зверь кинулся на семилетнюю дочку Виталика Маринку, на корточках присевшую с бумажными корабликами у широкой, разлившейся на полдороги, лужи. Девочку спасла от верной гибели толстая, из прочного, как брезент, китайского нейлона, куртка с капюшоном. Пока взбесившийся кобель рвал капюшон и куртку, покусав до крови руки, которыми Маринка пыталась закрывать лицо и шею, на крики девочки выбежал побледневший до смертельной белизны Виталик, с соседом через стенку Лехой Зайцевым, ловким, вёртким, как чертёнок, мужиком, в молодости бесстрашным, решительным бойцом и зачинщиком многочисленных деревенских драк. Мгновенно оценив ситуацию и выхватив из железного ящика с ключами Виталькиного трактора, тарахтевшего на нейтральном ходу у дома, увесистый ломик, Леха несколькими рубящими, беспощадными ударами перебил псу позвоночник. Зверь завыл и, скалясь розовой от крови пастью, закрутился на траве, не в силах опереться на парализованные задние лапы. Леха прицелился добить собаку по голове, но опустил руку с ломиком: к месту схватки бежал, не разбирая луж, Ванька Кузнецов.

В дело как-то очень споро тогда вмешался участковый, кому все доложила по телефону фельдшерца Светка Пономарёва, производившая первый осмотр покусанной Маринки и срочно направившая девочку в районную больницу. Участковый, молодой, неоперившийся лейтенантик, после милицейской школы направленный в Романово, ещё мало разбирался в тонкостях взаимоотношений коренных романовцев, и потому действовал строго по закону. По закону Ваньке Кузнецову грозило уголовное преследование, потому что собака была бойцовой породы и “содержалась в ненадлежащих условиях”, к тому же оказалась “не привитая”. Так что светил Ваньке вполне реальный срок. Виталик обиженно молчал и не влезал в расследования участкового, хотя по-дружески мог бы и попытаться как-то сгладить инцидент. В конце концов, Ванька договорился с лейтенантом “переквалифицировать” дело в административное нарушение и заплатить штраф, довольно серьёзный по сельским меркам, надо заметить. И ещё, по закону, настоял участковый, необходимо было взять анализы у собаки. Такая специальная служба по собачьим анализам была только в области. Везти куда-то, за тридевять земель, парализованного пса Ванька отказался наотрез. Участковый в свою очередь дошёл до его сведения, что он связывался с лабораторией и что на анализы необходимо доставить тогда песью голову. Что переживал Ванька, когда добывал из ружья собаку, когда отрубал ей башку, можно только догадываться.

С тех пор он избегал любых встреч с Виталиком, а если случалось сталкиваться на улице или в магазине, старательно отворачивал лицо.

А потом на Ванькиных пчёл ни с того ни с сего напала вдруг какая-то “морвая язва”. Разом погибли пятнадцать семей. Такое бывает, намекнули Ваньке опытные пчеловоды, если распылить через леток в улей какую-нибудь ядовитую дрянь, ну, например, хлорофос. “Неужели Виталька? — разжигал себя мстительными догадками Ванька, выметая гусиным крылышком из опустевших ульев золотисто-коричневые, сухо шелестящие комочки мёртвых пчёл. — Нет, вряд ли... с Маринкой всё обошлось, кобель оказался здоровый... Нет, тут кто-то другой... из местной босоты, завидуют! Хотя, чем чёрт не шутит... мог он кого-нибудь и подговорить! Вот и живи здесь без злой собаки!”.

На следующий год Ванька стойчески попытался поднять пасеку на прежний уровень. Но что-то как будто решительно надломилось у него с пчелиным хозяйством. Летом он прозевал несколько сильных отводков в период роения, и пчёлы, взмыв в небо чёрной кометой, улетели куда-то в сторону леса. Оставшиеся в ульях словно осиротели и работали вяло, вполсилы. Купленные за хорошие деньги у знакомого пчеловода несколько, казалось бы, сильных семей оказались заражёнными клещом, быстро вырабатывались и умирали, более того, перенесли заразу на здоровые ульи. К осени, чтобы не сработать себе в убыток, Ванька пожадничал и откачал у пчёл меда сверх меры. Зимой в ульях начался голод. К весне не осталось ни одной живой семьи. Ванька приуныл, пристройка к дому и новая терраска откладывались, похоже, надолго, если не навсегда. Ванька, морщась, купил корову, с отвращением завёл поросёнка и устроился к Любове Максимовне в школу (к тому времени она стала директором) на смешные деньги учителем труда и рисования.

А вот Виталик Смирнов все глубже “закапывался в навоз”. Каждую субботу и воскресенье мотался с Томкой на “Волге” по рынкам и подмосковным дачным поселкам. Торговал “экологически чистыми продуктами” где только мог. Но когда садился с тетрадкой за расчёты — на сколько выручил, на сколько потратился — в итоге всегда говорил себе, откладывая в сторону дешёвую шариковую ручку: “Нет, не догоняю!” С некоторых пор до него стало доходить, что если он даже заведет ещё десяток коров, отару овец, дюжину кабанов, не будет есть и пить, откажет себе в новых штанах, мыле и зубной пасте, будет из экономии сидеть при лучине, ходить в лаптях — то и тогда не разбогатеет, не обзаведётся той серьёзной копеечкой, которая позволила бы не то что каменный дом построить, ладно, Бог с ним, а купить хотя бы по однокомнатной, самой скромной квартирке Маринке и Андрюхе в райцентре. Об этом пришла пора озаботиться. Маринка была уже зрелая девка, на выданье, двадцать три незаметно набежало, работала бухгалтером на хлебозаводе — чем не невеста! А замуж выйдет, где жить будет? Андрюха после армии подался в “ментовку”, служил полицейским в небольшом подмосковном городке. Ему двадцать восемь недавно отметили. Постоянной подруги, догадывался Виталик, у него ещё не было. Но как в жизни бывает, сегодня нет, завтра есть. Так что о крыше над головой и для него не грех подумать. Правда, Виталик отдал тут ему недавно практически все вырученные за молоко деньги, триста тысяч, на бэушный, но еще свеженький, “фольксваген”, не всё же парню по электричкам и автобусам мотаться...

Свои обиды Виталик насадно-закупоренными носил в себе, если и делился с кем, то только с Томкой. “Ну, что тут сделаешь, отец, — вскидывала на него смышлённые, бирюзовые глазки Томка, — ничего не изменишь... Ты говоришь, жулики крутом! Так жулики всегда за счёт тружеников живут... Ты же не будешь разливать воду из колодца по бутылкам и продавать, как минералку”. “Не буду, — соглашался Виталик, — только не всегда они за наш счёт жили, были и другие времена” — многозначительно добавлял он, опуская глаза в землю. “Да будет тебе, — чутко понижала градус разговора Томка. Она после совхоза как-то очень удачно устроилась бумажки переключать в сельсовет, по-новому, в администрацию Романовского сельского поселения, и это накладывало на неё определённую ответственность, — те времена давно прошли... А ты и сейчас кое-что зарабатываешь честно”. “Копейки, — хмурился Виталик, чувствуя, что ему приятны слова

жены, что он “зарабатывает честно”, — хороший дом на них не построишь, детям квартиру не купишь”. “А может нам, отец, в фермеры податься? — сказала однажды Томка. — Земли у нас вместе с родительской двадцать пять гектаров, выделиться, взять поближе к деревне... Ты у нас ещё не старый... Вон как Бяка-то развернулся!”. Виталик призадумался, Томка словно его тайные мысли читала... Ушлая всё-таки баба!

Виталик давно приглядывался к Мишке Макарову, Бяке, как звали его в деревне с детства — фермеру, можно сказать, заметному, бывалому, с совхозных времён. Ещё в “перестроечные” времена, на излете Советской власти, будучи простым механизатором, Бяка выделился из совхоза, взял в аренду пятьдесят гектаров земли, выклянчил кое-какую технику и занялся частным хозяйствованием. Виталик несколько раз и так, и сяк, и по пьяной лавочке пытался выведать у Бяки, как тому удалось и дом построить каменный, и коровник со свинарником сгношить, и тракторами-машинами обзавестись, и даже работника нанять, но ничего конкретного у скрытного Бяки выведать ему так и не удалось. “Хитрый Бяка, — думал Виталик, — что-то он химичит, неспроста у него денежки водятся... Но ничего, рано или поздно дознаемся!” И всегда после таких мыслей с особым удовольствием вспоминал тот случай на речке из раннего детства, после которого Мишка Макаров на всю оставшуюся жизнь остался Бякой.

Тогда они, компания романовских мальчишек, ловили в омуте у разрушенной мельницы раков. Бесстрашно нашаривали их руками в норах под высоким, изрытом корневищами деревьев, берегом и, стараясь не напороться на клешни, ухватив рака за хрупко-твердую, панцирную спинку, выбрасывали на берег. Периодически выскакивали из реки и собирали маниакально уплывающих в сторону воды раков в плетёную корзину. На берегу сидел увязавшийся за старшими пятилетний, вечно простуженно шмыгающий носом, плаксиво-капризный, а потому недолюбливаемый пацанами Мишка Макаров. Вначале Мишка боязливо и настороженно рассматривал копошащихся, налезавших друг на друга в корзине тёмно-зелёных раков, похожих на огромных тараканов. Потом осмелел и, пересиливая страх, попробовал даже прикоснуться к одному, самому маленькому и нестрашному, пальчиком. Рак клацнул клешней и больно стеганул Мишке по руке. Мишка взвизгнул, отдергивая от смеха, попадали на землю и, суча в воздухе белыми, промытыми пятками, зашлись в мстительном восторге: “Бяка! Бяка!”

...На четвертый день пастушества, в субботу, наконец-то развёдрилось и проглянуло солнце. Земля после трёхдневных дождей, быстро подсыхая, запарила, разом стало жарко и душно. Виталик, раздевшись к полудню до пиджака, уже несколько раз запускал кнутовище под рубашку, с наслаждением чесал между лопатками, мечтал о вечерней бане. На берегу Кержи не выдержал, разулся, с наслаждением пополоскал задыхающиеся в резине, с душком, ноги в мутной от дождей, холодной, непрогретой воде. Долго расслаживаться, правда, не пришлось. Скотина от оводов и слепней начинала сатанеть. Коровы ломались, спасаясь от кровососов, через кусты подалше от реки на ветерок, на прибрежную горку. Заворачивая их по высокой, ещё мокрой траве в очередной раз на луг, чтоб не дали дёру с горки в деревню, Виталик совсем выпустил из виду проказливую коровёнку Генки Демьянова, которая, пока пастух бегал по косогору, тут же перебралась вброд на другой берег реки, где принялась, подманивая остальных коров, утробно реветь и рыть рогами землю.

Пришлось снова разуваться и босиком, высоко закатав штаны, больно спотыкаясь о скользкие камни на дне реки, перебираться на другую сторону Кержи. Лезть обратно в речку корова не хотела, хоть тресни. Виталик пытался и уговаривать её, и подталкивать — бесполезно! Упрямое, строптивое животное, широко и грузно раскорячившись, словно вросло в землю, продолжая призывно трубить, воспалённо косясь на Виталика дурным, навывкате, глазом. Терпение Виталика лопнуло. Кнут он оставил на другом берегу рядом с сапогами. В горячке, не размышляя о последствиях, Виталик решительно

выломал в ивняке длинный, гибкий прут и, секанув несколько раз для остроты со свистом воздух, принялся с яростным остервенением, не помня себя (помутнение какое-то нашло), нахлестывать корову по худой, мосластой хребтине. Несколько, наиболее сильных ударов хлыстом вспороли корове кожу до крови, на глазах вспухли толстыми, насосавшимися пивками, рубцы. Тут побежишь! Протяжно и обиженно замычав от боли, корова грузно и неуклюже, как только ноги о камни не переломала, тяжелой машиной ринулась в воду... Виталик не на шутку струхнул, быстренько следом пересек речку, по-солдатски, мигом обулся и, нагнав корову, попытался клочком травы затереть следы от побоев. Рубцы позеленели и стали ещё заметнее.

Пас в этот день Виталик как никогда долго, до сумерек. Зародилась навивная мысль, что рубцы, возможно, рассосутся, ранки затянутся, а если нет, то в темноте не будут так заметны. Он несколько раз осторожно подкрадывался к корове, пристально разглядывал её спину. Нет, рубцы не исчезали, не рассасывались. И Виталик медлил, затыгивал с возвращением в деревню. И только, когда солнце окончательно провалилось за горизонт, небо загустело тёмной синевой, а с речки потянуло холодом и сыростью, Виталик развернул стадо в Романово.

Как назло, встречал в этот вечер свою непутевую коровёнку на лужайке перед домом сам Генка Демьянов. Обычно это делала его жена Нинка, рано увядшая, зашуганная, вечно смотрящая в землю сутулым коньком-горбунком, бессловесная раба. Она, принимая корову, обычно мелкими шажками и как-то пугливо трусила за ней до сарая, не особенно оглядывая кормилицу. Генка, тот наоборот, изображал из себя заботливого, внимательного хозяина. Обычно в заношенном до жёлтых, просоленных пятен под мышками полосатом тельнике, в нейлоновых, спортивных штанах, в неизменных резиновых шлепанцах на босу ногу, Генка вальяжно распахивал провисшую на одной петле, чертившую землю, калитку, давал корове посоленную корочку, картинно оглаживал её бока. У Виталика это всегда вызывало улыбку. Он-то хорошо знал, что Генка был тот ещё хозяин, корову держал всегда полуголодной, сена запасал до февраля, не больше, а потом побирался с верёвкой по соседям, выпрашивая охапку-другую “до лета”. Корова у него по весне выбиралась на свет божий из хлева, пошатываясь.

Как-то Виталик зашёл к Генке во двор и поразился толстому слою окурков перед низеньким, прогнившим крыльечком. Так и представилось, как хозяин изо дня в день посиживает на тухлятых ступеньках, непрерывно смолит, бросая экономно выкуренные до корешка окурки под ноги. “Сколько же денег улетело с дымом! — подумал тогда Виталик. — И сколько новых крыльечек можно было сделать на них!” А какой запущенный, с чмокающей под ногами тёмно-коричневой, навозной жижей, не просыхающей даже летом, ржавыми консервными банками, битой посудой под забором, щепой от колотых дров, без единого деревца был у Генки двор! “Ты бы сюда хоть пару машин щебёнки бросил, — помнится, сказал тогда Виталик, с ужасом оглядывая дикость и разруху кругом, — всё бы до сарая легче было добираться”. “Щебёнку, говоришь? — с вызовом посмотрел на него Генка карими, с сизой дымкой в зрачках, глазами. — На щебёнку денег надо... Это у вас, у прихватизаторов, их много, а у нас, простых колхозников, денег нет!” “У каких таких прихватизаторов?” — изумился Виталик. “Да у таких, как ты, — недобро оскалился Генка, — разжились на народном добре...” “Не понял?” — снова удивился Виталик. “Все ты понял, — сощурился Генка, — когда совхоз делили, тебе вон трактор с навесной техникой дали, а мне пососи только...” — похлопал он себя ладонью ниже пояса. “Вон оно как!” — по-прежнему изумляясь, подумал Виталик и хотел было добавить, что и при совхозе надо было больше работать, а не спать под кустами на телогрейке, тогда, глядишь, и тебе что-нибудь досталось бы, но благоразумно промолчал и дал себе зарок больше к Генке не заходить.

— Что-то ты сегодня, пастух хренов, запаздываешь! Корова, она животное такое, любит вовремя доиться! — крикнул недовольно Генка Виталику от криво откинутой, так и не починенной за лето, калитки, тыча встречаемой

корове одной рукой горбушку хлеба в губы, другой нарочито ласково похлопывая её по спине.

— В дожди пригонял раньше, сегодня решил добрать время... — мимоходом бросил Виталик, норовя побыстрее проскочить мимо Генки.

— Э, стой, зазноба моя, это что тут у тебя?! — услышал Виталик крик Генки и, стараясь не оглядываться, прибавил хода. — Да на тебе живого места нет! Ого, до мяса приголубили! А ну-ка, погодь, пастушок, ты что это с коровкой нашей сделал? — Виталик услышал за собой, как часто зашлёпал резиновыми тапками по голым пяткам Генка, и понял, что тот догоняет его...

— Я нечаянно, я не хотел! Она всё через реку лезла! — развернулся Виталик лицом к преследователю и интуитивно прикрылся рукой с кнутиком, улавливая каким-то особым чувством, что Генка настроен решительно.

— Нечаянно?! А, если она скинет, она в марте огулялась, ты за неё телиться будешь?! — Плотный, на голову выше ростом, Генка сходу, не размахиваясь, коротко отвесил тяжелым, как гирька, кулаком Виталику в ухо. Виталик почувствовал, как его ноги отрываются от земли, и кувыркнулся в грязную, мокрую траву. Бейсболка с головы слетела, закатилась в лужу. Кнутик выпрыгнул из рук.

— Будешь знать, как над домашним животным издеваться, гад! — язвительно сказал Генка и, презрительно отплювываясь, развернулся к дому.

Виталик, оглушённый, встал на ноги, достал бейсболку из лужи, отжал, и, прижимая холодную, влажную ткань к стремительно наливающимся жаркой тяжестью уху, огляделся. К счастью, сумеречная улица была пуста, скотину уже разобрали и развели по дворам, никто, кажется, ничего не видел. Хотя, показалось, шевельнулись занавески в тёмных окнах, ещё без света, у Ваньки Кузнецова... Виталик машинально накиннул мокрую бейсболку на голову, потоптавшись на месте, нашёл в траве кнутик, и, повертев его бессмысленно в руках, закипая: “Да чтоб, вас всех!”, с треском сломал о колено.

2

В выходные Андрюха Смирнов старался побывать у родителей. Он видел, как достается отцу. И когда приезжал домой, помогал старикам по хозяйству с полной выкладкой. Чистил хлева, вывозил на тачке в огород горы слежавшегося, утрамбованного коровами навоза, который, пуп надорвешь, прежде чем вырвешь вилами из созревшей толщи и кинешь на тележку; колл дрова — комлистые, перевитые древесными жилами чураки, в которых колун застревал и взять их можно было только железным клином; копал по весне бесконечные гряды в огороде, после чего спина не разгибалась; летом впрягался в сенокос — подменял отца, валил тракторной косилкой траву, потом с матерью и сестрой разбивал валки, шевелил, сгребал сено, складывал в копны, перевозил к дому, скирдовал... Иной раз зайдут друзья вечером, в клуб приглашают, так Андрюха деликатно уклонится, что не могу, мол, завтра рано на работу надо ехать, а сам с отцом возьмётся обшивать тёмсом дом с улицы. К слову, когда всё сделали, покрасили в голубой цвет, наличники причудливой резьбы на окна навесили — заиграла халупа.

Виталик с тихой радостью поглядывал на старательного домоседа-сына, удовлетворенно угадывал в нём себя. Он часто ловил себя на мысли, какой знатный трудяга мог бы получиться из Андрюхи, если б тот остался в деревне. Технику любит и знает, приучен работать на ней, можно сказать, с детства. Работящий, аккуратный, спорый... Не пьет. Учился в школе очень даже ничего, всё-таки на автомеханика в техникум поступил и закончил. Вот если бы всё оставалось по-старому, прикидывал Виталик, далеко бы пошел в совхозе парнишка. Этот уж точно бы каменный дом поставил. А так, где ему по специальности тут работать — всё развалили, растащили, да и в райцентре картина такая же — ни одного завода не осталось. Вот и пришлось подаваться в “ментовку”. Да и то надо сказать спасибо шуруину, у того какие-то зацепки в подмосковной полиции оказались, взяли Андрюху сразу сержантом. И всё равно, в деревне Андрюха, в нормальной деревне, как раньше,

был бы куда больше на своём месте. Ух, крепко бы зажил парень! Виталик воображал сына то механиком, то завмастерскими, то на кране, то на комбайне, заколачивающим в уборочную по восемьсот рублей в месяц, за три сезона на новенький “Урал” с коляской. А что, разве мало зарабатывали, кто старался, не пил, не отлынивал от работы? Рукастый, с башкой механизатор получал больше, чем директор. Всё-таки хорошее было время — уносился в прошлое мыслями Виталик. И представлял Андрюху с хозяйственной, толковой женой, с нормальными ребятишками, естественно, в добротном кирпичном доме, где впереди яблонева аллея, мощённый гладкими, обкатанными водой камушками (вон их в реке сколько!) двор, с клумбой посередине и разными пристройками... как у того немца, в Германии. “Не у меня, так у него точно получилось бы!”.

...После бессонных суток дежурства Андрюха Смирнов никакой, измотанный до предела, рухнул на узкую, распатанную кровать в полицейском общежитии в восемь вечера пятницы и проспал, как убитый, до десяти утра субботы. Проснулся выпавшимся и бодрым, в приподнятом настроении. Принял душ, надел джинсы, новую, голубую рубашку, ярко подсинившую и без того синие, васильковые глаза, жадно и с удовольствием позавтракал яичницей с жареной колбасой и в самом благодушном расположении духа вырлился на своем подержанном, но смотрящемся почти новым, чисто вымытом и ухоженном “фольксвагене” на трассу в сторону родного Иванграда.

Всё в тот день, от наконец-то появившегося солнца после трёхдневных дождей, чистоты и свежести промытых пространств с фиолетовыми пятнами люпиновых колоний, малиновыми линиями иван-чая, цветной вышивкой трав до дерзкого хода автомобиля, напористо подминающего под себя километры местами еще влажного, маслянисто лоснящегося на солнце асфальта, — всё это было так зримо, энергично и сильно и так сливалось с внутренним ощущением полета, довольства и безмятежности, что Андрюхе хотелось кричать что-то бессмысленное и несуразное, голосить во всё горло и подпрыгивать от беспричинной радости за рулём, что он периодически и делал, на долю секунды фиксируя краешком глаза диковато-недоуменные взгляды водителей пролетающих мимо, как из пращи, машин... Памятный выдался тогда денёк, надолго он запомнился Андрюхе.

Подъезжая к Иванграду, расpiraемый желанием щегольнуть и покрасоваться на иномарке, Андрюха несколько раз набирал по мобильному домашний телефон дядьки Фёдора, тот по субботам частенько выбирался с женой в Романово навестить родителей. Машины своей дядька не имел, ездил в деревню на автобусе, ещё ходившем два раза в сутки (раньше было пять рейсов), днём и вечером, с грехом пополам в Романово. Что такое романовский автобус по субботам, Андрюхе объяснять было не надо — поездил, знавал это дело. В маленький, всегда почему-то заляпанный сухой, светло-коричневой грязью, с ободранными сиденьями “пазик” народу набивалось под завязку. Ехали обычно весело, с прибаутками и матерком, и нередкими драками за свободные места... Никто у дядьки Федора дома на звонки не откликался. И Андрюха решил завернуть на всякий случай на автостанцию, подхватить дядю, если тот решил съездить в деревню, непосредственно у автобуса.

Андрюха дважды объехал вокруг романовского “пазика”, энергично штурмуемого расторопными земляками, правя одной рукой, нарочито высовывая голову из машины. Дядьки нигде не было. Притормозив поодаль, Андрюха решил дожидаться конца посадки, авось ещё прискочет старый козел. Настроение у Андрюхи начало портиться, никто его особо не замечал, знакомые здоровались сдержанным кивком головы, подбросить никто не напрашивался. Гордый народ романовцы, с сомнением, что тут скажешь, мать их так! И тут от толпы отделилась в коротком розовом платьице и голубой джинсовой курточке, на упругих, ровных ножках в белых туфельках на высоком каблучке девушка Мальвина. Именно в такую, почти в такую, влюбился когда-то в детстве Андрюха, посматрив в романовском клубе “Приключения Буратино”.

— Здравствуй, Андрюша! Ты случайно не в Романово? — очаровательной стрекозкой подлетела и замерла, словно зависнув в воздухе, над высунутой из окна машины головой Андрюхи Мальвина, поправляя солнцезащитные очки

на высокой, взбитой причёске крашенных, пепельно-голубоватых волос. Мальвина, это была точно Мальвина, настоящая, с экрана, из детства! Только повзрослевшая... И ещё у той глаза были синие, печально-неподвижные, а у этой смеющиеся, карие, с клубящимся сизым дымком в глубине зрачков.

— Ты что, не узнаешь меня? — Мальвина отступила на полшага назад, как бы давая себя рассмотреть. — Это я, Люда Демьянова, мы ещё в школе учились вместе, только я в пятом, а ты в десятом.

— Что-то припоминаю, — растерялся Андрияха, с неприличным магнетизмом зашарив глазами по оголенным, стройным ножкам Мальвины. — Хотел дядьку встретить... в Романово еду. Могу подвезти... — неопределенно промямлил он.

— Дяди Феди здесь нет... Так что, мне садиться? — заиграла глазками Мальвина.

— Да садись... какие дела! — расторопно, справляясь с растерянностью, ответил Андрияха, чувствуя, что девушка ему нравится. — Даже если он придет, всем места хватит.

Мальвина, цокая каблучками, розово-голубым облачком облетела машину и эфирно-бесшумно опустилась на переднее сиденье рядом с Андрияхой.

— А как же билет? — покосился Андрияха на высоко открывшиеся бедра Мальвины... и проглотил вождедение.

Мальвина, усмехнувшись, достала из кармашка джинсовой куртки прямоугольный листик бумаги, скомкала его и выщелкнула пальчиком в окно:

— С местом... кому-то повезет...

В автобусе с трудом закрыли спинами переламывающиеся дверцы последние пассажиры, и "пазик", дёргаясь, приседая на правую сторону, начал отъезжать от автостанции.

— Не пришел... не повезло дяде Феде, — Андрияха тронул машину с места.

— В следующий раз повезёт... Ты ведь каждую субботу едешь домой, — завозилась на сиденье Мальвина и подпернула из-под себя розовое платице, натягивая на колени. Андрияха не удержался, снова пошарил глазком полуприкрытые бедра Мальвины.

— Откуда знаешь, что каждую субботу... следишь, что ли? — заелозил вспотевшей рукой по бабалдашнику рычага переключения скоростей. На повороте, при выезде от автостанции на центральную улицу города, он опасно, почти на красный свет, обогнал романовский автобус и полетел, не разбирая дороги.

— Да ничего особенного, — неожиданно смущённо сказала Мальвина, — когда идем с девчонками в клуб, всегда видно, стоит ли твоя машина у вашего дома. А почему ты никогда не ходишь на дискотеку? Там бар открыли, прикольно... — спросила она и покраснела.

— Честно? — сказал он, встретившись глазами с Мальвиной и, мгновенно уловив, что ответить надо как думаешь. — Просто смысла не вижу. Пива насосаться да поплясать в дыму... не, это не для меня, я лучше в бане попарюсь...

— А молодость? — задумчиво, как бы вспомнив что-то своё, глубоко интимное, сказала Мальвина. — Вот так и пройдет?

— Не знаю! — резко оборвал Андрияха, улавливая полезность, но крайнюю несвоевременность разговора. — А я бы тебя никогда не узнал. Чем занимаешься? Где живёшь?

Между тем миновали город, свернули на шоссе в сторону Романова.

— Ну и жара сегодня, кошмар, — замахала ладошками у лица Мальвина, — говорят, весь июль теперь простоит такой... Я в парикмахерской работаю... комнату у одной бабули снимаю... Хочешь, Андрияха, тебе модную причёску сделаю! — Она вдруг плутовато нацелилась на Андрияху. Серые дымки заиграли у неё в глазах. — Что у тебя на голове? Какой-то самодельный полубокс! Хочешь, я сделаю тебе каре, как у хачиков? Нет, каре тебе нельзя, ты все-таки в полиции работаешь... Во, тебе гранж подойдет, очень стильный вид будешь иметь! — Мальвина неожиданно гибко метнулась к Андрияхе и ловко взъерошила ему волосы на голове.

Андрюха уловил легкий запах пота, который показался ему приятным, машинально сбросил скорость, остановился.

— Так и разбиться можно! — притянул к себе Мальвину.

— Ну и пусть! С тобой я на всё готова... я поняла это ещё в пятом классе, — засмеялась Мальвина, прижимаясь всем телом к Андрюхе.

Андрюха на миг отстранился, огляделся и, обнимая одной рукой девушку, тронул машину с места, чтобы через несколько метров свернуть с шоссе на полевую дорогу, пробитую в высокой траве к реке рыбаками и любителями пикников на чистых песчаных отмелях.

...Распираемый довольством и счастьем, первый раз в жизни ощутив нежность и страсть влюбленной, потерявшей разум женщины — ничего подобного до этого ни с кем у Андрюхи не было, — он подъехал к дому с желанием с кем-нибудь поделиться своими чувствами, выговориться... может быть, с отцом... Было где-то около восьми вечера. Выяснилось, что сегодня отец пасёт. “Четвёртый день уже”, — уточнила мать, внимательно приглядываясь к сыну.

— Ты сегодня особенный какой-то... и нарядный, как жених, — сказала она, собирая на стол.

“А может, я и есть жених!” — хотел сказать Андрюха, но передумал. Всё-таки серьезные, мужские дела он предпочитал обсуждать с отцом. А ведь мать угадала. После произошедшего сегодня у него с Людкой он готов был на ней, ни много ни мало, жениться. Андрюха чувствовал, что он встретил свою женщину. Он это сразу понял, когда слился с ней...

— Вечером схожу в клуб, — уклонился он от разговора с матерью, — одноклассников, когда ехал, на дороге встретил, пива попьём, давно не виделись.

— Только осторожнее там, — сказала Томка, — сейчас в деревне кого только нет, не раньше... а ты милиционер.

— Хорошо, — сказал Андрюха, прикидывая, хватит ли ему времени протопить баню и попариться до встречи с Людкой в клубе. Решил, что успеет. Заодно и отцу будет не грех помыться после четырёх дней пастьбы. А в бане, если не разминутся, может, удастся и поговорить.

Летом натопить баню — дело быстрое. Это зимой кадишь по два-три часа, пока прогреются стены, полы, полки... С десяток охапок дров, не меньше, спиалишь, прежде чем почувствуешь, как наполняется устойчивым, сухим жаром тёмное, прокопченное нутро бани. А в июле достаточно десятка поленьев — и всё, через час волосы на голове трещат, пар из лампочки, если плеснуть туда из ковшика, вырывается, как из огнемета, злым, раскалённым облаком, только уворачивайся. Таким гремящим духом, когда погаснет в печке огонь, и вода в котле начнет булькать и постукивать, надо баню несколько раз прожарить, промыть как бы, запарить в тазике с горячей водой берёзовый веник, дождаться, пока он не даст целебный, дегтярный запах — и тогда можешь смело заходить париться.

Андрюха уже во второй раз забрался на полку, когда услышал, как в предбанник, как всегда, чуть осторожно вошёл отец и стал неторопливо и размеренно раздеваться, сопя стаскивать сапоги, с глухим стуком отбрасывая их в угол.

— Бать, ты? — крикнул Андрюха. — Опоздываешь! Я уже по второму кругу!

— Ох, и накалил! И как только терпишь! — коренасто и разлаписто, белея в неярком свете банной лампочки сбитым, борцовским телом, на коротких ногах, вошёл в парную Виталик, машинально прикрывая голову ладонью, — шапку бы надел, мозги расплавятся.

— Не расплавятся, всего-то двенадцать полешек бросил...

— Ну да, лето, много ли надо, — сказал Виталик, присаживаясь на низкую скамейку вдоль стены. — Вначале отопреем, за четыре дня с этой скотиной... спина зудит просто.

— Давай предварительно веничком, — изъявил желание соскочить с полка Андрюха.

— Потом, — поморщился Виталик, охлаждая руку в бачке с холодной водой и прикладывая её к уху.

— Что с ухом? — всмотрелся Андрюха сверху. — Оно у тебя вареником оттопырилось.

— Да так... ты только матери не говори, я ей сказал, что у реки поскользнулся, на камень упал, — не стал ломаться Виталик и все как было рассказал сыну.

— Да я ему сейчас, козлу, пойду ноги повыдергиваю! — в бешенстве прыгнул с полка Андрюха.

— Не стоит, — продолжая смачивать холодной водой ухо, кисло сказал Виталик, — никто ничего не видел... не стоит с дерьмом ввязаться. А я его весной сеном выручал... — хмыкнул неопределённо.

— Как это не стоит! — вскинулся Андрюха. — Если тут каждый будет руки распускать... это уже ни в какие ворота! И что? Никто ничего не видел? На всей улице никто? Так не бывает, свидетелей найдем! На пятнадцать суток! Сразу поумнеет!

— И чёрт меня дернул с этой его коровой... Сам не знаю, что на меня нашло! — сокрушённо замотал головой Виталик.

— Бать, ты чего? — продолжал ерешиться Андрюха. — Ну, хлестанул ты эту корову, ну, рубец остался... она что, сдохла от этого? А тут хулиганство! Он же ударил тебя! Не, так просто ему это не пройдет!

— Да кончай ты! — раздражённо оторвал от уха и замахал рукой Виталик. — От дерьма подальше! Никто ничего не видел... а там жизнь покажет.

— Как скажешь, бать, — неожиданно сбавил обороты Андрюха. До него вдруг дошло, что этот “козёл”, которому он готов “ноги повыдергивать” за отца — родной отец Людки. И как-то нехорошо ворохнулось что-то в душе. Словно знак какой-то проявился...

— Ты только матери ничего не говори, — снова напомнил Виталик, посвоему оценив замешательство сына, — да и вообще, никому...

В клуб Андрюха пришёл где-то в начале одиннадцатого, в самый разгар бурного, разухабистого веселья. Пошарил глазами по скачущим, подпрыгивающим в трассерах пульсирующих огней изломанным фигурам танцующих. Людки нигде не было. Подошёл к барной стойке, где бармен, он же и диск-жокей в наушниках, в розовой рубашке и жёлтом в белый горошек галстук-бабочке, с факирской ловкостью орудия бутылками, приплясывая, соорудил кому-то, высокому и пижонистому, в дорогой, тонкой кожи черной куртке и белых штанах, стоявшему спиной к Андрюхе, какой-то замысловатый коктейль. Бармен сделал знак глазами, снял наушники с головы, что-то коротко сказал, и человек в кожанке обернулся.

— О, кто к нам пожаловал! Здорово, мент поганый! — сказал он довольно доброжелательно Андрюхе, не протягивая руки.

— Здорово, урка вонючая! — в тон ответил Андрюха, тоже не протягивая руки, и вскарабкался неуклопке на неудобный, длинным кукишем торчащий из пола, барный стул. Перед ним был Витёк Орешников, одноклассник до восьмого класса. Не виделась они лет семь. Витёк сильно изменился. Из жидкого “глистёныша”, как звали его в школе за худобу и заморенность, Витёк раскочался в крепкого, вполне бойцовского вида “быка”, нагулял вес, как-то весь раздался, заматерел. Карие, влажные глаза, большие и красивые, смотрели нагло и твёрдо. “Вполне уверенный в себе бандит”, — почему-то подумал, интуитивно весь подобрившись, Андрюха. Ростом он был пониже и массой пожиже, но неожиданно почувствовал, что, если придется сцепиться, он завалит Витьку. Он ощутил себя собранным, хладнокровным и готовым рассудочно применить то, чему учили на занятиях рукопашного боя.

Витёк, усмехнувшись и как бы что-то уловив, с небрежной барственно-привычно и ловко угнездился на стуле напротив, картинно откинул руку назад, в которую бармен услужливо вставил фужер с коктейлем.

— Выпьешь? Это мое заведение, угощаю... Денис, два по сто коньячку! — отставляя стакан с коктейлем, приказал бармену.

— Выпить всегда можно... А вот угощать меня не надо! — положил на барную стойку две сотенные бумажки Андрюха, принимая рюмку с коньяком.

— Брось ломаться... можно подумать, в ментовке платят, как на фирме? — насмешливо заблестел красивыми глазами Витёк.

— Нормально платят, — сухо отрезал Андрияха, — выпить хватит. — И еще раз оценивающе оглядел Витька. Чёрные, густые волосы с природным, сильным блеском, словно налаченные, хорошо, тщательно стриженные с модным коком надо лбом; почти сросшиеся у переносья брови вразлёт, тонкий, горбатый носыра, маслянистые глаза — Витек был не по-местному, экзотично красив. Проступала во всём его облике резкая, завершённая очерченность. Отец Витька когда-то проработал с год ветврачом после сельхозинститута в совхозе. Был он откуда-то из Дагестана, звали его Алиаскер, или что-то в этом роде. Но в Романове он был просто Алик. Неугомонным и любвеобильным оказался Алик парнем. Стремительным всадником гонял он по фермам на выделенном ему совхозом “ижаке”, пока не вынесла его горячее, страстное тело тяжёлая, упрямая машина на одном из крутых поворотов на груды собранных на меже валунов. Хоронить увезли его на родину. Романовцы искренне жалели, говорили “хороший был человек”, многие девушки и женщины плакали. Особенно рыдала и убивалась по покойному доярка Файка Орешникова, пышногрудая и крепкозадая деваха, к тому времени ходившая уже с приличным животом. Большая охотница погулять, повеселиться, родила Файка с тех пор ещё двоих от разных ухажеров, но не унывала: “Советская власть всех на ноги поставит!”. Но тут Советская власть внезапно приказала долго жить, и пришлось Витьку с младшими братом и сестрой с ранних лет впрягаться в изнурительную борьбу за кусок хлеба. Ходили они втроем, оборванные и голодные, по селу, подрабатывали как могли у одиноких женщин и старух — кому грядки за сто рублей вскопают, кому дрова за двести переколют и приложат. После восьмого класса Романовской средней школы отправился Витёк в город, в ПТУ, учиться на токаря. Но кому нужен был токарь в Иванграде, где к той поре все производства встали! Подрабатывал Витёк кое-как в шиномонтажках и автосервисе. Кругом бандиты, обман и свирепая резня за деньги. Кончилось приобщение Витька к когда-то гордому классу пролетариев тем, что подался он к “пацанам”, был замечен сборщиком “дани” на рынке, угодил в тёмную историю выбивания долгов с какого-то барыги посредством паяльника и получил пять лет колонии строгого режима. Это всё доходило стороной до Андрияхи, так что в целом он про Витьку кое-что знал.

— Когда откинулся-то? — спросил он Витька, пригубливая, не чокаясь с Витьком, рюмку.

— Да с полгода уже, — с вызовом сказал Витек, отхлёбывая тоже из своего стаканчика, — а что?

— Ровным счётом ничего... просто спросил, — в сторону сказал Андрияха, внимательно ещё раз оглядывая танцующих, — и сразу бизнес открыл... молодец.

— Я в твоих похвалах, мент, не нуждаюсь! — мгновенно ощерился Витёк. — Я за пять лет речей ваших поганных наслушался — вот вы где у меня! — провел он ладонью по горлу.

— А коньячок-то палённый, — принохался, усмехаясь, к рюмке Андрияха, — ванилькой отдаёт.

— Ну и работёнка, даже на отдыхе всё вынюхивать... легавые везде легавые, — парировал Витёк, вглядываясь куда-то за спину Андрияхи. — Вот и Людок, красавица наша, пожаловала!

Наверное, Андрияха слишком поспешно оглянулся, наверное, с излишним интересом вгляделся в приостановившуюся у порога Людку с подружкой, наверное, слишком эффектна и заметна была Мальвина в узких в обтяжку джинсах и светлой рубашке, завязанной узлом на оголенном животе, что он залюбовался, не сумел скрыть свои чувства, что не укрылось от Витька.

— Что, нравится? — ухмыльнулся Витек и наклонился ближе к Андрияхе. — Рекомендую... трахается, как зверь...

— Умолкни, гнида! — страшным шёпотом прошипел Андрияха и с силой вдавил кулаком причинное место Витька в упругую, дерматиновую подушку барного стула. Тот выпучил от ужаса и боли глаза.

— Андрюш, ты куда? Что с тобой? — жалобно пискнула Людка, когда Андрюха с перекошенным от злости лицом, решительно двинулся к выходу.

— Отвяжись! — кажется, оттолкнул он Людку и выскочил на воздух.

То, что напыхабничал ему Витёк, было так похоже на правду, было так близко к тому, что он сам испытал с Мальвиной, что ему казалось невозможным, что она могла так же щедро и бурно раздавать себя другому. Этого не могло быть! Так не бывает! Она же не машина! Но эти подробности... их придумать нельзя. “Тварь! Дешёвая тварь!” — бесконечно повторял Андрюха, шатаясь бесцельно по деревне.

3

Утром в воскресенье Виталик залёживаться не стал. Хотя вечером после бани, разнежившись, пообещал Томке, что завтра работать не будет, а будет весь день отдыхать. “Ты бы поберёг себя, отец, не всё чертоломить”, — ласковым, медовым голоском баюкала Томка, смазывая зашибленное ухо какой-то противовоспалительной мазью и для пущего эффекта подкладывая под бинт, налагаемый на больное место, листья подорожника. Её мягкие пальчики, почему-то со временем совсем огрубевшие от ежедневной, деревенской работы, проворными барашками прыгали вслед за бинтом вокруг головы Виталика. Сердце Виталика таяло от благодарного чувства к жене, и он покорно, молчаливыми кивками головы, соглашался, что нужно отдохнуть. Но думал он только о том, как поведёт себя на лугу навесная косилка, которую давно уже нужно было менять. Но она стоила денег, а лишних денег у Виталика после покупки сыну машины не было. Да и трактор, похоже, своё отработал, размышлял Виталик, тридцать лет... так, говорят, работает только японская техника... движок надо перебирать, на ходу глохнуть стал. А когда этим заниматься? В сенокос? Кто ж так делает! И Виталику не терпелось поскорее начать, врезаться в круговерть сенокоса, забыть проблемы. А там посмотрим, а там, если что-то пойдёт не так, по ходу решим, выкрутимся, придумаем...

И потому, несмотря на вчерашнее согласие отдохнуть “хотя бы в воскресенье”, Виталик, как заведённый, вскочил в половине пятого, разматал бинт на голове — ухо, кажется, прошло, саднило, опухоль начала спадать; подоил и выгнал коров в стадо, выпустил овец, успокоил, зашевелившуюся в постели Томку, что “уже выспался... не спится”, попил парного молочка и с нескрываемым удовольствием завёл стоявший на задворках трактор...

Косить он начал по отлогому, просторному склону неглубокого, с пересыхающим летом ручьем и небольшими, болотистыми бочажинами оврага, километрах в двух от Романова. Это были когда-то самые удобные, самые лакомые покосы в окрестностях села. Рядом с домом, и сено на солнечных, покатых угорах выходило всегда необыкновенно душистое от зрелого разнотравья, плотное и тяжёлое. Когда-то за делянки здесь, как рассказывали, романовские мужики крепко и с остервенением бились. Теперь они и даром никому не были нужны. Виталик уже лет пятнадцать здесь косил, и все свыклись с мыслью, что это Смирнова угодья. Да если бы кто-то заехал и другой, Виталик не стал бы возражать, травы хватило бы всем. Но те, кто держали скотину, предпочитали заготавливать сено ещё ближе к селу, на одичавших, бывших клеверных, совхозных полях. И Виталик тоже больше по привычке обкашивал в овраге самые лучшие, ровные участки, а затем переезжал на давно облюбованное им поле у соседней Хорьковки.

Виталик работал уже несколько часов кряду, кружил с косилкой по склону оврага, так что начала ныть и постанывать занемевшая от неудобной позы спина, когда на другой стороне оврага на свое поле выехал валить клевер Бяка. На красном, новеньком, поблескивающем свежей краской “Беларусе”, с мощной роторной косилкой — “И где только деньги люди берут!” — Бяка уверенно зашёл на высокие, густые чащи зеленовато-коричневого, с редкими розовыми шапочками, начинающего осыпаться клевера. Его трактор работал как бы без выхлопа, ни одного темного дымка над трубой — Виталик перевёл взгляд на свою чадающую керосинку — “Эх!”. Роторная косилка

Бяки без зажёвываний, играючи забирала жёсткие стебли перезрелого клевера и словно бритвой срезала под корешок — “Нам бы такую!”. И ещё Виталик вспомнил, что, как тут недавно ему рассказывали, Бяка прикупил по весне пресс-подборщик и какую-то машину с замысловатым названием для очистки полей от подлеска.

Обычно, обкашивая свои делянки, Виталик задавался целью где-то к полудню делать перекур напротив родника на противоположной, высокой стороне оврага. Родник, сколько помнил Виталик, всегда пульсировал здесь упругими, светлыми клубами хрустальной воды, словно ритмично работало в недрах земли чьё-то невидимое, неустанное сердце. В прежние времена ключ каждое лето углубляли, расширяли лопатами, забирали в просторный деревянный сруб, так что образовывалось небольшое озерцо, где в холодной, никогда не прогреваемой солнцем воде хранились до отправки на молокозавод бидоны молока от полуденной дойки совхозного стада. Молоко не скисало сутками. Случалось, мальчишки в жаркие дни, если проходили мимо, окунались и даже пробовали плавать в родниковой заводи. Но обычно пулей через минуту-другую вылетали из воды, долго стучали от холода зубами.

“И ведь не болели!” — как всегда, машинально подумал Виталик, оставив трактор напротив ключа. “Закалённые были, ничего не брало... весь день на воздухе и зимой, и летом... как быстро пролетело всё...” — размышлял он, пробираясь к роднику по дну оврага среди зарослей ивняка, душиных, остро и приторно пахнущих дебрей сныти, коричневых султанов рогозы.

У родника он разделся по пояс, намочил руку, присев на корточки, в ледяной воде, пошлёпал ею по начинающей лысеть с затылка голове, осторожно потрогал ухо — кажется совсем прошло! — напился из пригоршни и решительно обмыл лицо, шею, грудь ключевой водой. Растёрся рубашкой, тело запылало жаром и свежестью. “Вот потому и не болели”, — снова подумал Виталик о пользе закаливания, вспоминая неясно и мимолетно о детстве... А когда оделся и присел на крутой склон оврага, вбивая для упора каблук ботинок в землю, мысли его сразу стали заняты главным и привычным — где разжиться деньгами на новую технику? Может, и в самом деле в фермеры податься? Говорят, им кредиты стали давать... Тут надо бы с Бякой поговорить... Но ведь никогда правду не скажет, шельмец, думал с легким раздражением Виталик, прислушиваясь к чистому, мощному гудению Бякиного трактора, равномерно, без натуги то приближающегося к оврагу, то уходящего далеко в поле. Несколько раз Виталика подымало подняться наверх, остановиться под каким-нибудь благовидным предлогом Бяку, поговорить. Но какое-то чувство гордыни не пускало его. И он, пожевав в задумчивости травинку, собрался уже уходить. Внезапно Бяка, словно угадав его желания, остановился где-то неподалеку. Виталик услышал, как он выпрыгнул из кабинки на землю и, шумно разрывая цепкую, густую траву ногами, направился к оврагу.

— Не пересох ещё ключик? Хватит напиться? — крикнул Бяка сверху и, скользя подошвами сапог, хватаясь руками за высокие, жилистые стебли желтеющей пшжмы, стал боком, выставляя ногу вперёд, спускаться к роднику.

— Ну и жарница сегодня! — вприпрыжку подскочил к Виталику и с разбега звучно поздоровался за руку. — Я смотрю, ты здесь с самого ранья, уже на корову, поди, наваял... Я тоже хотел пораньше, но вчера были гости из города, поддали крепенько, с утра еле раскачался. — Бяка опустил на колено, зачерпнул кепкой воду из родника и стал торопливо и жадно пить. Напившись, он умыл лицо, отжал кепку и нахлобучил её мокрую на заросшую густым, диким волосом, давно не стриженную голову.

— Завтра, если такая погода постоит, уже можно будет сено прессовать, — сказал Бяка, поглядывая на небо.

— Это, смотря кто... прессовать... — осторожно ответил Виталик, глядя в землю. Он обдумывал, как половчее подъехать к Бяке с назревшим, деликатным разговором, если тот сам в руки просится.

— Что, неужели все по старинке с граблями и вилами по лугам бегаешь? — насмешливо скосил глаза с жёлтыми белками Бяка.

“Пьёт, капитально пьёт”, — подумал Виталик, пристально посмотрев снизу на Бяку, отметив и желтизну глаз, и серую, с трёхдневной щетиной, нездорово натяннутую на скулах, кожу исхудалого, не по возрасту в обильных морщинах Бякиного лица.

— Да как-то всё никак на пресс-подборщик не скоплю... вот и приходится с граблями и вилами... — вынужденно миролюбиво пробормотал Виталик, проглатывая обиду. — Кстати, по чём они сейчас? Ты, я слышал, новый купил?

— Новье по сто тридцать тысяч и выше, — покровительственно сказал Бяка, машинально ощупывая рукой склон и усаживаясь поудобнее рядом с Виталиком, — подержанный можно подыскать и за тридцать-сорок... на бери в интернете, там чего только нет.

— В интернете... — хмыкнул Виталик. “Тебе бы наши заботы”, — подумал.

— Скажешь, и интернета у тебя нет? — с издёвкой сказал Бяка.

— А у тебя есть? — огрызнулся Виталик.

— Есть... давно уже от школы оптоволоконный кабель домой провел. Пора уже от лучины, Виталя, отрываться, — похлопал Бяка Виталика по плечу. — Интернет — великое дело, очень полезная штука... Я по интернету хоть каждый день с главой района могу связываться! — вдруг вырвалось у него. — По телефону или на прием там хрен добьешься, а по интернету письмишко на его электронный адрес бросил, глядишь, через день-два помощник его тебе уже ответ начирикал.

Виталик с интересом посмотрел на Бяку:

— А с какого перепугу он тебе отвечать станет?

— Их обязывают реагировать, так сказать, на нужды трудящимся... — усмехнулся Бяка, — в интернете никаких бланков, официальных подписей, отбрехался через помощника, кто там чего проверять будет... А потом, таких как я, нас всего двое в районе, хочешь не хочешь — особое отношение...

— Что, всего два фермера на весь район? — напрягся (что-то забрезжило полезное в разговоре) Виталик.

— Когда делили паи, нарисовалось сразу где-то под сотню... думали, главное землю взять, — задумчиво, с сухим треском потёр небритый подбородок Бяка, — а потом — налоги, тарифы, цены, техника... сам знаешь... За двадцать лет все разорились. Барахтаемся вот пока — я да еще один мужик из бывшего “Дубеневского” совхоза... — вяло уточнил Бяка.

— Барахтаемся... ну, тебе-то грех жаловаться... вон у тебя... каждому бы так, — потыкал большим пальцем через плечо Виталик в сторону поля.

— Э, брат, не завидуй, — усмешливо сузил глаза Бяка, — если тебе рассказать, как это всё достается... Но лучше не будем! — хлопнул он себя ладонями по коленам и сделал попытку встать.

Виталик понял — или сейчас, или никогда.

— Миш, — вдруг доверительно и проникновенно, чувствуя, что следует подпустить “слезу”, заговорил он, — а я хочу в фермеры податься! Торговать молоком и сметаной по дачам — это ничего, но всё-таки не то... не догоняю, понимаешь? Не догоняю, и всё тут! Тити-мити... — пошуршал пальцами в воздухе Виталик. — Трактор ещё совхозный, надо менять... Какую-то новую технику купить тоже невозможно. Не всё же с граблями и вилами, в самом деле, по лугам бегать! Детям что-то пора приобрести — у обоих ни кола, ни двора! А тут, может, какие кредиты дадут... У нас с Томкой и с родителями двадцать пять гектаров паевых есть. Выделимся, зерновыми займусь, стадо заведу, глядишь, копейка серьёзная появится... Что-то надо делать! Вот ты, хоть и говоришь, что трудно, но что-то у тебя выгорает — трактор вон новый, пресс-подборщик, новая косилка, этот, как его, мульчер... поля чистить, ведь лес везде поголовный прёт... Но это надо было всё как-то приобрести! Значит, можно! Вот я и думаю, может и мне рискнуть?!

Бяка молча, насупившись, сгрёб пятернёй кепку с головы и отбросил в сторону, расстегнул молнию, снял байковую ветровку с капюшоном. Кисло

пахнуло застарелым потом, несвежим бельем. Остался в одной вылинявшей, грязно-серой футболке.

— Меня на следующий день после пьянки стало часто в пот бросать. Вот так вдруг прошибёт, что хоть майку выжимай. Не знаешь, почему это? — сказал неожиданно Бяка, утираясь внутренней стороной ветровки. — Я слышал — от сердца...

— Да просто жара сегодня, — поспешил успокоить Бяку Виталик, хотя ему показалось, что Бяка вдруг как-то излишне побледнел, — а ты оделся как на Северный полюс... охолонись вон лучше из родничка.

— Пожалуй, ты прав, — с раскачкой приподнялся с земли Бяка. У родника он, широко, по-бабы расставив ноги, наклонился и с чувством, сильно, почти втирая воду, умыл одной рукой лицо, намочил голову и шею.

— Враз полегчало! — оторвался от родника и, повернувшись лицом к Виталику, пристально оглядел его, как бы к чему-то примериваясь. — А всё-таки с сердцем что-то не то, то стучит и стреляет, как тракторный пускач, то обмирает, как курица под топором... — Последние слова были сказаны Бякой словно в дополнение к какому-то непростому, внутреннему диалогу с собой.

— Провериться надо, — машинально сказал Виталик, чувствуя приближающуюся развязку.

— Вот что, земля! — выпрямился медленно Бяка. — Я тебе по-дружески, откровенно, как мужик мужику скажу — не суйся ты в это дело, в это фермерство гребаное! Живёшь спокойно, не голодаешь — ну и живи! А дети? Что дети? Дети у тебя выросли, пристроены мало-мальски... пусть ипотеку берут...

— Ну, ты скажешь тоже... ипотеку! Ипотека — это на всю жизнь хомут... две квартиры, говорят, в итоге выплачивать приходится, — промямлил растерянно Виталик. Слова Бяки явно озадачили его.

— Смешной ты человек, — заулыбался Бяка, подходя ближе к Виталику, — а кредиты, о которых ты мечтаешь, если фермером станешь, они тебе что, за просто так будут даваться? Их тоже, как и ипотеку, возвращать с процентами надо!

— Говорят, начинающим есть льготные какие-то...

— “Говорят, начинающим...” — передразнил Бяка, — минимально под десять процентов, вот тебе и все льготы! А дальше сам думай, крутись, выворачивайся наизнанку, как их вернуть...

— А ты... ты как же? — мягко, боясь спугнуть момент, задал свой главный вопрос Виталик.

— Что я? — неопределенно пожал плечами Бяка и снова долго, как бы что-то прикидывая, рассматривал Виталика. — Я в дерьме по самую макушку... — медленно сказал Бяка и снова замолчал. Виталик, трепеща, впился в него взглядом.

— Запутался я в этих кредитах, век бы их не видать, — продолжил неожиданно, словно на что-то решившись, Бяка, — берёшь новый, прикрываешь старый, потом снова берёшь, закрываешь предыдущий... и так до бесконечности. Живу в долг и каждый день жду, когда этот пузырь лопнет... надоело... скорей бы обанкротиться — всё какая-то ясность! Но и этого сделать не дадут... — засмеялся натянуто Бяка, показывая отсутствие передних зубов.

— Почему это... не дадут? — вильнул глазками Виталик.

— А я для них дойная корова, — насмешливо посмотрел на Виталика Бяка, — сорок процентов с каждого кредита наверх отдаю! Представляешь, миллион они мне, допустим, оформляют, а я им четыреста тысяч обратно в конвертике возвращаю... Так кто ж такой несущке голову будет рубить?! Вот они меня и подсаживают, как какого-нибудь наркомана на иглу, на кредиты... Виталя, друг сердечный! Это паутина, — морщась и растирая рукой левую часть груди, начал вдруг говорить что-то ужасное Бяка, — липкая, грязная паутина! Лучше не попадать в неё! И техника у меня не моя — вся она в лизинге! Не завидуй!.. И вообще, запутался я в мутных схемах с этими жуликами по самое некуда! Поэтому и тебе не советую лезть в это дерьмо!

Живи спокойно, радуйся, что никому ничего не должен, что сам по себе и что ни одна сволочь не держит тебя на крючке! — Бяка поднял кепку с земли, оббил её о колено, и, зажав вместе с ветровкой в руке, не прощаясь, стал зло и решительно, как показалось Виталику, постанывая, карабкаться вверх по склону оврага.

После разговора с Бякой что-то в душе у Виталика разладилось. Были упования, пусть неясные, но какие-то надежды на изменения в лучшую сторону чего-то главного в жизни. Снова всплыли в сознании забытые было грезы о собственном каменном доме. Но Бяка пролил в душу неуверенность и сомнение. Может, действительно не надо ничего менять? Вроде всё есть, все сыты, одеты, обуты. Погонишься за большим, не потеряешь ли то малое, что есть, что вот оно, как говорится, в руках? Не случайно же все эти фермеры разоряются? А то, что Бяка рассказал о себе? Жуть, страшно становится.

Виталик так раздумался, разволновался, что не заметил в траве россыпь мелких, острых камней. И откуда они только берутся! Виталик каждый покос чистил от них овраг, но они маниакально, как драконовы зубы, лезли и лезли всякий год из земли... Стальные, натёртые до блеска травой ножи косилки искристо царапнули камни, заскрежетали, вздыбились, начали с хрустом ломаться, словно стеклянные. Виталик чертыхнулся, остановил трактор, дал задний ход. Но было уже поздно, косилку заклинило намертво. “Теперь до вечера ножи меняй! Только бы Андрюха не уехал, вдвоём управимся быстрее!” — Виталик возбуждённо погнался трактор в деревню.

Было уже около пяти пополудни. Установилось полное безветрие. Солнце палило немилосердно. Виталик обливался потом, задыхался от зноя и пыли, трясясь в раскалённой кабинке на ухабах по дороге домой. Мутило — с утра ничего не ел, злился, что не нашлось в тракторе пустой бутылки, набрать воды в роднике, что ничего не взял утром перекусить, что не углядел с косилкой... Доставалось мысленно и Бяке: “Зажрался! Всё ему не так! Да ещё пугает!..”

Как ни гнал, ни спешил, сына дома все-таки не застал.

— С полчаса как уехал, — сказала Томка, вглядываясь в лицо мужа. — Андрей весь день был мрачнее тучи, ты вон тоже какой-то недовольный... Что с вами сегодня? Давай-ка я покормлю тебя, — понимающе добавила она, — а потом полежи, отдохни... И что тебя погнало с утра, завтра бы с сеном начал... а сегодня с Андреем пообщался бы, не то что-то с ним, чувствую, — заканючила Томка и осеклась, заметив, как раздражённо стал морщиться Виталик.

— Может, подрался с кем... люлей получил, — грубо сказал Виталик, всё ещё недовольный, что сын уехал раньше обычного, и потрогал зашибленное ухо.

— Да нет, не похоже, что-то другое... — задумчиво проследила Томка за рукой мужа. — А ухо у тебя, я смотрю, совсем спало...

— Слава Богу, — уже ласковее отозвался Виталик, — да вот как назло на покосе Бяку встретил, а потом косилка полетела, на камни напоролся... Как проморгал?! И все Бяка со своей трепотнёй... расстроил меня...

Томка сделала вид, что пропустила про Бяку мимо ушей, достала из холодильника початую бутылку самогона, холодную, зажатую с утра в духовке курицу, банку малосольных огурцов.

— И что теперь? Косилку новую покупать? — сострадательно посмотрела на мужа.

Виталик выпил рюмку, закусил огурцом, набросился на курицу, раздражая её руками.

— Да сделаю, там всего-то ножевое полотно поменять, — невнятно заурчал он с набитым ртом, — с Андрюхой, конечно, повеселее бы... но ничего, сам управлюсь... Говоришь, расстроенный уехал?

— Весь день был какой-то смурной, — долго вытирала руки Томка кухонным полотенцем, неожиданно добавила: — Мне передавали, вчера он подхватил у автостанции в городе Людку Демьянову...

— Ну и что? — недовольно покосился Виталик, вспомнив вчерашнюю историю с Генкой.

— Вот и то! — вырвалось раздраженно у Томки. — Люди-то заметили, тронулись они от автостанции вместе с автобусом в час, а домой-то он приехал где-то в начале девятого...

Виталик пожал плечами, потянулся было к бутылке, но передумал — пьяным работать не любил, а вечером он твёрдо наметил косилку починить.

— Нормально... покатал девку, — ухмыльнулся, — дело молодое.

— Да как сказать, — многозначительно сказала Томка. — Говорят, она весной с Витькой Орешниковым путалась, когда он вышел из тюрьмы.

— Говорят, говорят... всё у вас говорят, — нахмурился Виталик, почувствовав, как недобро ёкнуло сердце. И налил всё-таки вторую рюмку. Выпил, долго и сосредоточенно хрустел огурцом. Томка терпеливо переминалась у стола.

— Ну, а приехал-то он вчера... ничего? — спросил Виталик, твердо и решительно завинчивая бутылку.

— Веселый, в настроении... — вздохнула Томка, — ну, ты же его сам в бане видел...

— Значит, что-то там, в клубе, приключилось... — старательно стал чистить зубы спичкой Виталик, — я ему говорил, нечего там делать... лучше бы лёг пораньше, а с утра сено со мной поехал косить... глядишь бы я с Бякой не заболтался, косилка была бы цела... Эх! — махнул рукой. — Приедет в субботу, поговорю! — Виталик кинул спичку в чёрное жерло печки, решительно поднялся. Постоял, подумал и зачем-то добавил: — Ну, а что касается Людки и этого... как его, Витька Орешникова, то со свечкой мы там не стояли... А у нашего должна быть башка на плечах, не маленький уже...

Томка покачала головой.

— Не маленький, конечно, но неопытный ещё... сейчас девки вон какие... да этот тюремный тут... говорят, бандит отпетый! — разволновалась неожиданно она.

— Ладно, ладно — разберёмся, — досадливо морщась, попытался успокоить жену Виталик, — приедет, всё узнаем! Главное, без нервов... а то придумываешь ты вечно!.. Лучше послушай, что Бяка баит, — свернул неприятный разговор Виталик, снова усаживаясь за стол.

— Да как же иначе... сердце болит, — часто заморгала бирюзовыми глазами Томка и, виновато улыбаясь, задвигала табуреткой присесть.

Виталик в подробностях передал разговор с Бякой в овраге.

— Даже не знаю, что тут и сказать... — задумалась, выслушав мужа, Томка. — Конечно, у каждого сегодня жизнь не сахар, но получается-то пока — Бяка лучше всех в Романове живёт и что-то, похоже, не спешит фермерство бросать.

— Говорит, скорей бы обанкротиться, кредит кредитом покрывает, как белка в колесе! — торопливо вставил Виталик.

— Это все они так говорят, у кого своё дело... ноют и жалуются, — рассудительно сказала Томка, — только добровольно никто ещё от этого куска хлеба не отказывался. Жадные, хитрые... и соперников бояться.

— Ты куда это клонишь, не пойму что-то?! — искренне удивился Виталик.

— Да как сказать, — внимательно посмотрела на мужа Томка, — пока он тут в округе один фермер, все кредиты его, а появишься еще кто-то — уже на двоих делить надо.

— Ну, ты и скажешь! — подскочил Виталик на месте. — Как это... конкуренции боится?! Поэтому и запугивал, значит! — С нескрываемым интересом посмотрел на жену: “Век живи, век учись”, и почему-то вспомнил, что идея с фермерством принадлежала Томке. — Не знаю, — пожал плечами, — мне показалось, Бяка от души говорил, без подянки...

— Может, оно и так, — сказала Томка со вздохом, — тут подумать надо, нас же никто не гонит...

Давным-давно, еще на заре новой, демократической власти, когда на короткий период неожиданно прихлынули в деревню частникам щедрые, безвозмездные кредиты от государства, Бяка не сплеховал, взял своё и выстроил просторный, с размахом, каменный дом за околицей, на холме, поближе к лесу, где рядом, сразу от опушки начиналось его поле. Красивое место выбрал Бяка для жительства, привольное. Дали необъятные убежали от окна, синели в дымке леса на горизонте... Поэтом бы родиться Бяке! И всегда было здесь сухо и чисто. Не как в самом Романове, где весну и осень увязали в грязи. Что тоже учёл Бяка, когда выбирал место под будущий дом. Приусадебный участок он прирезал к кромке поля, так что на деле вышло, что он хитро расширил свои владения где-то ещё на гектар. Все делал с умом, продуманно и надежно Бяка. Дом разделил для удобства капитальной стеной на две половины: зимнюю и летнюю. Кочевал с постелью из духоты в холодок и обратно. Полы настелил двойные, с толстым слоем керамзита между половицами — зимой хоть босиком ходи, не застудишься. Рамы вставил дубовые, которые ни одна сырость не перекашивает, вечные. Мансарду для будущих внучат утеплил поролоном и обшил вагонкой, а затем проолифил и покрыл лаком. Получилась на чердаке уютная, сверкающая чистотой и опрятностью светёлка.

Приусадебный участок Бяка разделил на три части. На первой, рядом с домом, всегда солнечной поляне, специально без единого деревца, разбил огород. Тут росли только овощи и полезные кусты — смородина, малина, крыжовник, бузина вдоль забора от грызунов и вредителей. Во второй посадил яблоневый сад с беседкой посередине, с вишенником по периметру, в котором живописно “утопил” баньку. В третьей части, с берёзовой аллеей на выезде, разместил хозблок — увитый диким хмелем, чтобы запах отшибало, двор для скота и сарай для сена; рядом, как он говорил, “кормозапарочный цех” с двумя огромными котлами, вмазанными в печку, в которых с утра до вечера булькало и варилось в облаках тёплого, белого пара месиво из комбикорма и картошки для свиней, настаивалось пойло для коров; сзади кормозапарника — обитый шиферными листами навес для техники; в углу участка, на отшибе — отапливаемая, с печкой, избушка-слесарня с инструментом, токарным станком, купленным за копейки ещё у совхоза, за которым Бяка наловчился вытаскивать болты и гайки, и самые необходимые железки по хозяйству — от дверных крючков до массивных, навесных запоров для сараев и пристроек.

Все это сложное и непростое хозяйство вместе с домом Бяке удалось выстроить и наладить за какие-то два-три года после обвала советской власти, когда ещё живы были в Романове рукастые и несребролюбивые, старой закладки мужики, готовые за ящик водки и скромное угощение, за “здорово живешь”, так сказать, поднять и справный дом за лето, и баньку с пунькой сгношить. Правда, на угощение Бяка не скупился, подтягивал ежедневно из города спирт “Рояль” багажниками на “Москвиче”, нарезал горы дешевой вареной колбасы, не жадничая, выставлял просроченную гуманитарную тушенку из Европы, тазиками варил скользкие, рыхлые “ножки Буша”. Иногда шелестел, но уже скупее, “гайдаровками” с многочисленными нулями, выдавал, когда мужики уже изрядно накачивались и радовались, как дети, “живым” деньгам, которые они видели в победно шагающей рыночной стихии всё реже и реже. Что они доносили до дома, одному Богу известно. Поговаривали, что Бяка как отдавал, так аккуратно и забирал у наиболее захмелевших.

Подфартило Бяке тогда с мужиками, крупно подфартило. Через пять лет эти чуткие и отзывчивые на чужую нужду люди, добрые, наивные, человеколюбивые “совки”, вдруг начали дружно вымирать. Умирали они от водки, от этой дешёвой, удивительно доступной, морем разливанным нахлынувшей, “палёной”, ядовитой гадости; от тоски и непонимания, что с ними происходит; от своей ненужности и бесполезности... Умирали десятками, не дожив год-два до пенсионного возраста. Когда Бяка обнаруживал, что достроить,

допустим, сеник некого было уже и позвать, он начинал не без странного удовлетворения думать, что со своей грандиозной стройкой он успел как-то удивительно вовремя и ловко проскочить, что ему в каком-то смысле повезло... Проскочить он успел и с деньгами. Осторожное, хитрое, тороватое районное начальство, сплошь из прежних коммунистов, только начинало входить во вкус освоения увесистого государственного пирога и поначалу оглядливо отгрызало от кредитов Бяке всего лишь пять-семь процентов. Это уже потом, лет через десять они установили твердую планку в сорок процентов, а тогда ещё пугливо скромничали и оставляли Бяке, завистливо облизываясь, приличные суммы. Бяка зажил тогда на широкую ногу, вольным помещиком. Зерновыми он заниматься бросил — невыгодно стало, засеял поле клевером — возни меньше, развёл коров и свиней. Правда, с тех пор его хозяйство прозвали Свинячьим хутором. Бяка на это обижался, поскольку считал себя образцовым хозяином, чистоплотным и аккуратным, не то что некоторые, вот уж действительно, живущие, “как свины”. И ведь действительно имел на это право, если по совести сказать. Дом его, благодаря стараниям жены Райки, сухопарой, не знающей усталости в работе, энергичной, суровой молчунье, светился чистой и опрятностью. Перед домом, со стороны села, Бяка разбил цветник, высадил вдоль грядок до большака голубые ели. Он даже мусор регулярно вывозил на тракторной тележке в заброшенный песчаный карьер. Поэтому, чья бы корова мычала...

В новом доме родилась дочь Тонька. Долгожданный ребенок, Райка долго не могла понести. Обнадёженный Бяка начал мечтать о наследнике. Но внезапно Райка умерла. В мглистый, ноябрьский день, с ледяным северным ветром, разогретая в кормозапарнике до пота, она в одном халате привычно сновала с ведрами на скотный двор и обратно. Ночью запольхала от высокой температуры, стала бредить. Через два дня преставилась в районной больнице от крупозного воспаления лёгких. “Странно, — говорил потом Бяка, — от воспаления лёгких сейчас не умирают”. Но жена умерла. И с этого рокового события начался совсем другой отсчёт времени в жизни Бяки.

Дом, двор, огород, сад вдруг начали зарастать грязью, сорной травой, мусором, превращаться действительно в Свинячий хутор. Бяка пробовал сопротивляться накатывающему запустению. Бросался по утрам в огороде на сорняки, обкашивал сад и проулки между сараями, старался подмести в доме, помыть посуду хотя бы для Тоньки, устроить постирушки. Но его одного на всё явно не хватало. Сад за лето зарастал густой, негодной травой, от которой коровы отворачивались; к хозяйственным постройкам торились едва заметные тропинки; у крыльца незаметно образовалась помойка; в доме за свалками нестиранного, затхлого тряпья заметно сжалось пространство, поубавилось света. Тонька подрастала. Поначалу Бяка смотрел на неё с надеждой. Но девочка росла вялой, замкнутой, безразличной ко всему тихоней. Она даже в куклы не играла. Обычно днями одиноко просиживала у окна, рассеянно смотрела куда-то в сторону села, в небо, вычерчивала слабым пальчиком на стекле какие-то, ведомые только ей, вензеля и значки. “По матери тоскует”, — думал Бяка и подходил к дочери, жалостливо гладил по головке. От его прикосновения девочка вздрагивала и ёжилась. Бяка в такие минуты терялся и, не зная, что сказать дочери, вздыхал и молча уходил из комнаты. “Жениться бы надо, — размышлял он тоскливо, — мать ей, конечно, не заменишь, но вот если бы попалась добрая и работающая...” Но такой женщины не подворачивалось. Сошелся было Бяка с “новой русской” в Романове, владелицей магазина Надькой Карасёвой. Полгода похаживал к ней по вечерам. Надька была разведённая, тоже одна поднимала сына. Была аккуратная, чистоплотная, водкой и мужиками не баловалась. Лет с двадцати начала работать продавщицей в Романовском сельпо, нагло не обчитывала, ну, если только по копеечке, по две с пьяненького какого или подслеповатой старушки. Приторговывала, говорят, среди своих по ночам водкой, по рублю сверху. Деньги на книжку не клала, покупала золото в Москве. Так что было на что открыть свою лавочку при буржуйской власти. И собой была Надька вполне ничего, Бяке нравилось её не расплывшееся

к сорока годам, по-девичьи собранное тело, ухоженные, всегда пахнущие чем-то приятным, волосы, милое, с правильными чертами лицо... Симпатичная была женщина Надька, по всему подходила, и можно было подумать и о дальнейшем, но уж очень скупа и торовата оказалась. Бяка сам был не из щедрых, деньги любил попридерживать, тратился всегда с неохотой. Но с Надькой был особый случай. Она даже на свидании, пред тем как лечь с Бякой в постель, налив ему рюмочку с напёрсток, внимательно проглядывала на просвет, на сколько поубавилось в бутылке, и отрезала закусить строго дозированный, единственный кусочек колбаски. В разговорах аккуратно выведывала, на кого у Бяки записан дом, и если он женится, то что перепадет жене. “Заморит голодом, а то и меня и Тоньку отравит, дом и всё хозяйство перепишет на себя с сыном”, — решил однажды Бяка и порвал с Надькой навсегда.

Случались у него потом и после Надьки связи с женщинами, но носили они характер эпизодический и недолговременный, так, когда совсем уж было без бабы невмоготу... К пятидесяти годам Бяка отчаялся второй раз жениться, заматерел, космато, по-звериному зарос, потерял половину зубов, приобрёл навсегда запущенный, неряшливый вид, стал попивать. Тонька выросла, с трудом закончила десять классов в Романове, учиться никуда дальше не пошла, так и осталась с отцом на Свинычем хуторе. К двадцати годам стала не по летам заплывать жирком, раздаваться на глазах, превращаться в широкозадую, толстоногую, круглолицую бабищу. К хозяйству была постыдно равнодушна — не допросишься ведра свиньям вынести, на ходу, что называется, спала, любила жареную картошку на подсолнечном масле — съедала сковородами, и часами бестрепетно вглядывалась, как в детстве в окно, в телевизор. “Ну, ты бы хоть в доме приборку сделала, живём, как в хлеву, — пробовал иногда наставлять дочь Бяка, — ты посмотри, в чем мы ходим, хуже трактористов!” Тонька нехотя отрывалась от телевизора, равнодушно смотрела на отца: “Ладно, снимай рубаху, постираю”. “Э, черт! — закипал Бяка, — рубаху я и сам постираю! Ты себя обиходи, порядок во всем наведи! Кому ты будешь нужна такая грязнуха!” “Да найдутся охочие, — усмехалась Тонька, — я, вона, богатая невеста...” “Охочие... богатая невеста... тебя, дуру, и за деньги никто не возьмет!” — в раздражении выбегал Бяка из дома. “И в кого она такая?! — нервно ерошил он буро-седую, густую волосою на голове, остывая на лавочке у крыльца. — Вот Райка была — огонь!” — с тоской вспоминал покойную жену, в который раз растравливая себя мыслью, что замены ей, видно, никогда уже не будет.

Но тут неожиданно и “замена”, и “охочие” вдруг нашлись... Года три назад на хутор к нему прибилась вывезенная из Москвы семья. Вернее, мать с сыном. Тогда многих горемык из столицы, отбирая у них квартиры, московские жулики рассовывали по деревням, в полузаброшенные, купленные за бесценок хибары. Были это в основном люди пьющие, ослабленные, не способные ни к какому сопротивлению стервятникам капиталистической эры. “Новые высланные”, как окрестили их в Романове, были из их числа. Мать — Таисия, в прошлом, как она рассказывала, инженер-технолог какого-то НИИ, и в деревне несла последние гроши в магазин к Надьке Карасёвой за палёную водку. Хотя её сын — Игорек, худой, остролицый, невысокий паренек лет двадцати с нерабочей, полувывсохшей левой рукой, не был замечен в особом пристрастии к выпивке. В Романове их жалели, сразу приняла, отнеслись как к несчастным, обобранным до нитки нехорошими людьми на большой дороге. В первое лето, когда пара крепких, коротко стриженных “бычков” грубо десантировала мать и сына из “рафика” с немудреным скарбом на лужайку перед раскуроченным “финским” домиком — “Вот ваша новая квартира!”, помогала им обжиться и не умереть с голоду вся деревня. Соседские мужики из подручного материала перестелили в домике сгнившие полы, застеклили окна, переложили провалившуюся печь. В зиму сердобольные романовцы нанесли бедолагам картошки, муки, круп, банок с маринованными огурцами. Помогли заготовить дров. Таисия в припадке пьяной благодарности не раз вставала на колени и, рыдая, кланялась каждому прохожему на улице. Когда картошка закончилась, мать с сыном пошли

батрачить по дворам. Денег им никто не давал — не было их, денег этих, у самих романовцев. А вот накормить, обогреть несчастных — ради Бога! Прочесав и не раз в поисках работы и тарелки щей романовские улицы, мать и сын постучались на Свиный хутор. Поначалу Бяка принял их настороженно и с неудовольствием — бомжи какие-то, алкашня, один калека... что с них возьмешь, но, впрочем, ладно, решил, пуцу, пусть навоз почистят у коров, не всё же самому надрываться... Но, знакомясь ближе, наблюдая за “высланными” в работе, начал ловить себя на мысли, что они-то, вообще, ничего, старательные, и от них есть какой-то прок. Баба, если не пила, вполне сноровисто научилась орудовать вилами, замешивать корм для свиней, доить даже... Малый оказался тоже не ленивый, ловко подхватывал правой, здоровой рукой ведра с пойлом, без усталости таскал в коровник. С ними и в доме стало повеселее. Тонька то ли стесняться стала бардака, то ли ещё что, но начала с некоторых пор приборку наводить, за собой следить, по крайней мере, вылезла из замурзанного халата, джинсы на толстую задницу напялила, съездила в город, кудрявую причёску сделала. Правда, тут Бяка немного насторожился, стал приглядывать за Игорьком, но ничего предосудительного не обнаружил — Игорька, кажется, не волновали мясистые прелести Тоньки, да и была она на голову выше Игорька. “Окажется Наверху, невзначай, — представил, улыбаясь, Бяка интересную сцену, — раздавит, как мышонка”, — и перестал даже думать о чём-то таком.

И мать с сыном прижились на Свиный хуторе. Бяка отделил им перегородкой из горбыля закуток в кормозапарнике, сколотил два топчана, поставил столик, прибил вешалку... По их же просьбе, между прочим — не таскаться же каждый день из деревни и обратно в свою холодную лачугу, а тут всегда в тепле и рабочее место в прямом смысле в двух шагах. Да и приготовить себе всегда можно на горящей с утра до вечера печке. Самые необходимые продукты — хлеб, крупу, макароны, подсолнечное масло Бяка покупал им сам, по строго дозированной норме, молока позволял пить вволю. Раз в неделю разрешил ходить в баню, правда, только после себя с Тонькой.

Лето прожили вполне справно и дружно. Бяке даже стала нравиться такая жизнь. Таисия за работой забывалась и стала вроде меньше пить. Она даже как-то повсвежела, и Бяка поймал себя однажды на вожделении к ней. Но подавил это чувство в себе, это было бы себя не уважать. Хотя вся деревня, доходило до него, давно уже перекрестила его с Тайкой, а Тоньку с Игорьком. Однажды Надья Карасёва, отвешивая Бяке в магазине сахарный песок, с издевкой и мстительно пробросила: “Слаще сахара бывают, говорят, бомжихи... Не знаешь, Миш?” Но Бяка на сплетников поплёвывал, держался сам в норме и удерживал равновесие, как ему казалось, на хуторе в целом. В то лето он заготовил клевера на две зимы вперёд, удачно продал осенью излишки, оказался с барышом. Потом ловко перехватил хороший кредит и обзавёлся той самой новой техникой, на которую завистливо заглядывался Виталик Смирнов. Правда, в лизинг, но мечталось, что рано или поздно он её выкупит в собственность. Но для этого надо было договариваться с Булкиным, главой района, чтобы тот надавил на своего зятя, заведующего агролизингом, продать года через два технику Бяке по остаточной стоимости. Булкин же в последнее время стал капризничать, не подпускал Бяку напрямую к переговорам, действовал через помощника. Бяка долго недоумевал, за что такая немилость, пока помощник не намекнул, что “хозяйин” хочет поднять до пятидесяти процентов ставку отката по кредитам. Ну, это было уже слишком — с миллиона отдай пятьсот! А себе тогда что оставалось?! Почти ничего! Бяка всю осень ходил как оглушённый и решил, пока не приедут описывать имущество за долги, новых кредитов не брать. Так и вошёл в растерянности, бочком, одной ногой как-то, в Новый год. Что явно не сулило устойчивости и процветания в наступающем. Как говорится, как встретишь...

Так оно и вышло. В начале января, после затяжного, обильного новогоднего возняния замёрзла Таисия. Возвращалась из деревни ночью, пьяная, на хутор, сбилась с дороги, долго плутала, судя по следам, по полю, упала в снег в каких-то ста метрах от жилья, заснула и больше не проснулась.

И морозец стоял легкий, и метели особой не было, и вот надо же тебе, как угораздило! Отдала Богу душу всего в нескольких шагах от дома. Судьба! Перенесли её, негнущуюся, скрипуче-заиндевевшую, в прилипших ледышках, Бяка с Игорьком в кормозапарник, уложили на топчан, стали разоблачать. Из кармана жиденького, обвислого пуховика выпала недопитая бутылка, покатила криво по полу...

— Наверное, смерть была легкая... умерла, как в наркозе, — зачем-то сказал Бяка, вглядываясь в почерневшее, каменное лицо покойной.

— Заткнись, урод! — вдруг затрясся, сверкнув глазами Игорек, поднял бутылку с пола, отвинтил крышку зубами и выпил залпом до дна.

С того дня Бяка стал почему-то побаиваться Игорька. А Тонька после простеньких, тихих похорон с укором сказала:

— Мог бы и в дом тогда Таисию перенести.

А весной, в жаркий, синий апрельский день, когда Бяка неожиданно вернулся с поля, где подсевал клевер, за новой порцией семян, он застал Тоньку с Игорьком в постели. Что-то удержало его бить калеку, да и сверкнувшие тогда, после смерти матери, ненавистью глаза Игорька — краткий миг восстания раба — запомнились, не схватился бы за нож... В клокочущей ярости, с трудом сдерживаясь, он отледел, пока Игорек оденется, обуеет, постукивая пятками в пол, сохшиеся кирзовые сапоги, а затем сгрёб его за шиворот и спустил пинками с крыльца:

— Чтoб духу твоего здесь больше не было, козёл!

К дочери вернулся, прихватив в сенях, сто лет там висевший на гвоздике, никому не нужный, приводной ремень с комбайна.

— Потаскуха! С кем связалась! — схватил Тоньку за жиденькие, мелким бесом завитые волосёнки, оторвал от подушки, занес руку для удара.

— Бей! — закричала Тонька, закрывая глаза рукой. — Хоть насмерть убей, не боюсь! А его прогонишь, удавлюсь! Среди твоих грязных свиной удавлюсь! — И зарыдала, кривя своё и без того некрасивое, большеротое, круглое лицо: — Мамку заморил, теперь мне жизни не даешь!

Бяка разжал пятерню, лёгким толчком с удивлением оттолкнул голову Тоньки:

— Что, что я сделал с матерью?

— Что слышал! — кульком упала Тонька в подушку, вздрагивая в рыданиях голыми, мясистыми, усеянными рыжими веснушками, плечами.

Бяка неприязненно прикрыл спину дочери толстым, засаленным одеялом, не решился и погладить Тоньку по волосам — обида вдруг взяла его.

— Мы с матерью жили дружно... вместе дом поднимали, — голос Бяки задрожал. — Врачи, коновалы, погубили её... и всего-то было воспаление легких.

Тонька затихла, прислушиваясь. Бяка всё-таки осторожно погладил её по голове:

— Вот так-то, доча... А он тебе не пара... сама же знаешь. Вот и подумай, к чему всё это приведет! — Бяка присел на край кровати, примирительно встряхнул через одеяло плечо дочери.

— Пара не пара, а лучше мне здесь не найти! — выпрямилась на постели Тонька, прикрываясь и вытирая слёзы одеялом. — В клубе на меня никто внимания не обращает, все вон худенькие, а я... как корова!

— Ну, зачем так сразу — “как корова”! Ты симпатичная, крупная... кому-то и такие нужны, — миролюбиво сказал Бяка, зачищая ногтем присохшую грязь на штанах. — А он-то, посмотри — шкет! Да ещё с одной рукой! Что ты в нём нашла?!

Тонька перестала плакать, недоверчиво поглядела на отца — так ли уж по-доброму расположен он, можно ли довериться? — шмыгнула носом и снова заревела:

— Он хороший, у него тоже мамка умерла... не прогоняй его!

Бяка досадливо поморщился и, ещё раз потрепав Тоньку по голове, пошёл искать Игорька.

Игорёк был в кормозапарнике, складывал свой немудреный скарб в объёмистый, высокий мешок из-под комбикорма. Придерживая зубами край

мешка, закинул в него одной рукой облезлые, с торчащим пухом куртки, замызганную, стоптанную обувь, несвежие вороха грязных футболок, электрически потрескивающие, из синтетики, свитера... В аккуратную стопку на столе были сложены книги.

— Читаешь? — прикидывая с чего начать разговор, машинально взял Бяка в руки верхнюю книжку. — Молодец... смотри ты, какая заковыристая... “Как рабочая сила становится товаром”, — прочитал на обложке, — “Критика капитализма”, — посмотрел на следующий томик в стопке. — Ну, да, — протянул, думая о своем, — ты же в экономическом техникуме учился...

Игорёк подхватил рукой мешок под горло, разжал зубы и, отплевываясь, поставил на топчан. Вопросительно и недобро взглянул на Бяку.

— А вот мне, брат, читать некогда, — вздохнул Бяка и вернул книгу в стопку, — с утра до вечера, как заводной...

Игорёк молча, насупившись, стал по одной закидывать книжки в мешок. Бяка нахмурился:

— Ты, вот что, распаковывай мешок... Скажи спасибо Тоньке, упростила... Но чтоб больше к ней ни-ни, на пушечный выстрел! — свирепо выпучивая глаза, грохнул кулаком по столешнице.

— Ты меня на испуг не бери! — задрожал длинным, острым подбородком Игорек. — Ради Тоньки... Тони, то есть, я останусь... но на все твои условия класть хотел! — зло сказал он и помахал в воздухе, согнутой в локте рукой.

— Борзый, значит, стал... выёживаешься! — потёр рукой небритые скулы Бяка, — хотел с тобой по-хорошему... А может, тебя свиньям скормить? Кто тебя, такого обсоса, искать будет! — усмешливо окинул Игорька взглядом.

Тот побледнел, сделал несколько шагов назад:

— Будут! Тонька искать будет! — и опустил руку в карман.

— А ты, я смотрю, шустрик, — покосился Бяка на карман Игорька, — капитально загудрил девке мозги... от этой дуры теперь всё что угодно можно ожидать. — Бяка потоптался на месте и на всякий случай встал так, что их с Игорьком стал разделять стол.

— И что же мне с тобой, таким красивым и умным, всё-таки делать?

— Слушай, папаша, — поморщился Игорек, — хватит придурка из себя корчить... Говори по делу, или я действительно сейчас уйду!

— По делу, так по делу, — посуровел Бяка, — так вот... Тоньку я за тебя, бомжа, никогда не отдам, лучше застрелиться от позора... И расцепить вас сейчас невозможно, — Бяка мрачно задумался. — Так вот... я тебе денег дам, хорошо дам, не обижу!.. Ты покрутишься здесь ещё до осени, потихоньку спускаешь всё на тормозах, чтоб без бабьих трагедий там разных... а потом исчезаешь, как будто тебя никогда и не было. Ну, напишешь потом что-нибудь, что другую полюбил... и с концами. — Бяка замолчал и накрыл Игорька, как плитой, тяжелым, угрюмо-выжидательным взглядом.

— Покупаешь, значит? Ну и сколько дашь? — усмехнулся Игорёк.

— Тысяч сто пятьдесят, думаю, тебе хватит, чтоб уехать далеко-далеко! — с медовой ехидцей пропел Бяка.

— Не густо, — криво улыбнулся Игорёк, — с учётом того, что мы с матерью три года пахали на тебя бесплатно.

— Не понял! — насторожился Бяка.

— А чего тут понимать, — вскинулся острым подбородком Игорёк, — осенью мы с Тоней и так решили от тебя уйти, а до этого...

— Как, как — уйти?! — перебил Бяка. — Жить, что ли, вместе? С тобой? Ну, ты, юморист!

— ...А до этого!.. — выкрикнул Игорёк, — ты заплатишь по суду всю причитающуюся мне зарплату!

— Зарплату?! Тебе, по суду?! Да кто ж тебя слушать будет, сывка! — аж побелел от негодования Бяка.

— Послушают! Тоня свидетель, всё на суде расскажет! Да и другое кое-что вскрыться может! — вырвалось у Игорька.

— А вот это уже интересно! — задышал глубоко Бяка. — Что, например?

— Узнаешь! — сказал Игорёк, доставая руку из кармана и разминая пальцы в воздухе.

— Ну, ты и наглец! — выдохнул Бяка, — без меня вы бы с матерью с голоду подошли... а я вас бесплатно кормил. И сколько же ты просишь этой... зарплаты?

— Хуже свиней кормил... макароны и маргарин. — Вздрогнул подбородком Игорёк, — а зарплату буду требовать среднюю по деревне... семь тысяч в месяц. Вот и считай, сколько на двоих за это время набежало.

— На пол-лимона тянет... не по чину замах, — презрительно посмотрел на Игорька Бяка. — Ничего ты в суде не докажешь! Не знаешь ты, что такое сейчас суды... А вот нарваться можешь, капитально нарваться, так, что, действительно, закопают... — Бяка выдержал паузу, устало и безразлично протянул: — Что-то там “вскрыться может”... Что ты вскроешь? Дегсад... Так что бери, пока я добрый, то, что даю, и на все четыре стороны по осени... В июле получишь половину, в октябре остальное. Ты все понял?

Игорек, царапнув Бяку косым взглядом, промолчал. Бяке захотелось подойти к этому обнаглевшему “обмылку”, врезать как следует, повалить и долго возить мордой об пол, пока не запросит пощады. Сдержался. “Получить сосунка старших уважать ещё будет время”. Разошлись в тревожной подозрительности каждый при своем.

Бяка видел, что шаши Игорька с дочерью не только не прекратились, как грозно требовал он, но, наоборот, приобретали с каждым днём всё более откровенный и наглый характер. К июлю утративший всякий стыд и страх Игорек самым бессовестным образом бухал сапожищами каждую ночь напрямиком к Тоньке в летнюю половину дома. Это был вызов, дерзкий, самонадеянный вызов, и Бяка понял, что его условия решительно отвергнуты. “Что делать? — призадумался Бяка. — Выгнать их обоих и немедленно? Но сколько будет сраму на селе, да и как одному летом справиться с хозяйством, с этой вечно голодной прорвой свиней, коровами, сенокосом! Подстеречь “неделка” где-нибудь в укромном местечке, придушить гниду и закопать в лесу?!” — приходили в голову и такие мысли, но это было слишком... Стал бояться, что по злобе Игорек отравит свиней, подмешает что-нибудь в пойло коровам... Потерял покой, пристрастился подглядывать через грязные окна в кормозапарнике и в сарае, как они с Тонькой мешают корм свиньям, как доят и поят коров. Стало пошаливать сердце, временами еле ноги таскал. А тут еще Булкин со своими тёмными делишками в очередной раз нарисовался. Случилось это как раз накануне встречи с Виталиком Смирновым в овраге.

Здесь надо сказать, что Бяка через этот проклятый распил с кредитами так сросся с верхушкой районной администрации, что вошёл в круг чуть ли не самых близких и доверенных лиц самого главы района Булкина Владимира Савельича. А посему изредка, обычно где-то раз в году, на хуторе у Бяки появлялся на неприметной “совковой” “Ниве” помощник Булкина по связям с общественностью Вадик Труханов, чрезвычайно деятельный, расторопный, улыбочиво-обаятельный молодой человек, неполных ещё тридцати лет, но, к сожалению, рано облысевший, что очень старило и портило его. Но это так, к слову...

Вадик заезжал на хутор на заляпанной грязью “Ниве” обычно со стороны леса, по вполне насезженной лесниками, охотниками и “чёрными” торговцами древесиной дороге, пробитой через когда-то роскошный, но теперь под корень выведенный хвойный бор, от большого села Петровское, стоявшего километрах в десяти от Романова на большаке в сторону областного центра. Получалось, что Труханов делал порядочный крюк по чащобам сорного подлеска, поднявшегося на месте красавца-бора, прежде чем попасть на хутор к Бяке. Принимая от Вадика обычно поздним вечером, в темноте, увесисто-тяжелый, средних размеров, но вместительно-ёмкий чемоданчик-кейс с кодовым замком, обильно и тщательно, как это делают в аэропортах, перемотанный скотчем, Бяка понимал предусмотрительность помощника

главы района. Он однозначно догадывался, что в чемоданчике. Испариной покрывалось тело Бяки, когда он брал кейс в руки, закутывал в рогожку и, тревожно прижимая к груди, нёс, как бомбу с заведённым таймером, в слесарню. Там он, затворив окна на внутренние ставни, чтоб ни щёлчки, ни просвета, доставал из ящика, заваленного разнокалиберными заготовками, моток тонкого, стального тросика, обматывал им широколобую станину токарного станка, закреплял узел, перебрасывал тросик через блок, ввинченный в потолочную балку, к лебёдке и осторожно, мягко приподнимал передок станка над полом. В полу обнаруживалась крышка, с металлическим кольцом заподлицо, неглубокого, обитого оцинкованной жёстью тайника, куда и помещался с особой тщательностью и предосторожностями дополнительно упакованный в целлофан драгоценный чемоданчик. Затем станина снова намертво опускалась на люк тайника, обнаружить который, не сдвинув в сторону полутоннотонную махину станка, было невозможно.

Вадик только почтительно закивал головой и сделал восхищённый знак большим пальцем, когда Бяка показал ему потайное место уже на второй раз появления помощника главы района с таинственной поклажей.

“Груз-10”, как обозначил для себя чемоданчик Бяка, обычно отлёживался у него на хуторе месяц-два, не более. Затем снова по лесной дороге и, как всегда, в сумерках появлялся на вёрткой машинке Вадик и, не особо распустраниваясь, отделяясь скупым присутствием, забирал кейс, клал под подушку переднего пассажирского кресла, и уезжал уже по шоссе в город. Бяка мысленно крестился: “Слава Богу, пронесло... И дай Бог чтоб в последний раз”, когда красные задние огни “Нивы” угольками в темноте уплывали по хуторскому просёлку на большую дорогу в Иванград. Но “последний раз” не наступал. Более того, в этот последний раз Вадик приехал какой-то кисло-озадаченный, смурноватый, и, передавая “груз-10”, предупредил, что кейс полегит у Бяки, может быть, до осени. Час от часу не легче... А когда Бяка, совершив с чемоданчиком привычную ходку в слесарку, вернулся в дом, Вадик неожиданно попросил выпить. Это было уже что-то новенькое, чтобы деловито-строгий, вечно куда-то спешащий Вадик сел с Бякой водку пить? Чудеса какие-то! Но у Вадика, видимо, что-то крепко наболело, про свои проблемы Бяка и думать не хотел, так противно было на душе, что уже скоро сидели они в празднично освещённой разноцветными гирляндами беседке, среди нежно причёсанного трёхдневными дождями, вольно дышащего сада, и на вполне доверительной, разнеженной волне, в гармонии с природой, почти не пьянея, с удовольствием опрокидывали рюмку за рюмкой. Хотя, “не пьянея”... это им только так казалось. Просто водка попалась приличная и не сразу била по мозгам, как “палёнка”, и Бяка не пожадничал, принес из подвала царскую закуску — пол-ляжки свиного окорока — бело-розового на просвет, если резать тонкими ломтями, пахнущего дымком, таявшего во рту... Вадик пил, наполнялся пьяной, осоловелой расслабленностью и не мог насытиться окороком. С ним такое, при его конституции, редко случалось. Бяка, посмеиваясь, наблюдал за неумно-прожорливым гостем и тоже не отставал.

— Завтра печень будет вот такая! — показал рукой Вадик что-то воображаемо большое, выпуклое, по правому боку.

— Ничего, рассосётся, молодой ещё, — успокаивающе говорил Бяка, иронично оглядывая лысую голову Вадика, — молодой... это вот мне завтра с похмела клевер косить... боюсь, хреново будет!

— А ты спи... ты же не в колхозе, бригадир будить не будет... ты же сам себе хозяин, — уже пьяненько подковырнул Вадик.

— Хозяин! — неопределенно хмыкнул Бяка. — А ты откуда про колхозы-то знаешь? Кино смотрел? — не удержался, тоже боднул Вадика.

— И кино смотрел, и книжки читал, и дед с бабкой рассказывали... Преемственность поколений, так сказать... — совсем не обиделся Вадик и внимательно, с присущей ему особенностью — исподлобья, посмотрел на Бяку, — ты что, Михал Васильич, действительно поедешь завтра свой клевер косить, в воскресенье... с бодуна?

— Умирай, а рожь сей... — чем-то польщённый, беззубо заулыбался Бяка.

— А ты батрака пошли, — сказал неожиданно Вадик, — кстати, где он? Да и дочка твоей что-то не видать.

— В клуб ушли, на дискотеку... еле выпроводил, — нахмурился Бяка (ему не понравилось — “батрак”) и подумал: “Хитрый жучила, пьяный-пьяный, а лишних ушей на всякий случай боится”. — Какой из моего “батрака” батрак! — небрежно отмахнулся. — Ты же знаешь, калека он... но вот прибился, живёт... — и на всякий случай добавил: — Я его не гоню, бесплатно кормлю-пою...

— А мать его, я слышал, замерзла?

— Да, пьяная, зимой... как раз после новогодних праздников... Так что надеяться мне приходится только на самого себя... Умирай, а рожь сей, — со вздохом повторил Бяка.

— А надо ли все это? — вдруг странным вопросом задался Вадик и взялся за бутылку: — Ого, пустая! И когда это мы успели и эту выдуть?

Бяка молча сходил в дом и принес ещё поллитровку.

— Не знаю, что надо, что не надо... — сказал он, вернувшись, нетрезво припечатывая бутылку на стол, — а что ещё делать? Я в кредитах, ты знаешь, в долгах, как... в навозе. Не буду крутиться, за полгода сдуюсь... всё опишут, не опишут — заставят своим продать, не заставят продать — убьют... И чё я тогда старался?! Чё из кожи лез, наживал, строил все это?.. Так что поеду завтра с утра клевер косить, без бригадирских пинков, как ты говоришь... Вот она, частная собственность! Она злее колхоза! Даже с бодуна гонит на работу... Я не прав? Если прав, наливай!

Вадик ещё достаточно твёрдой рукой филигранно, не пролив ни капли, разлил водку по пузатым, вместительным рюмкам:

— Глаз-алмаз... прав ты, Василич, прав! И меня проклятый капитализм безжалостно каждый день на “мои клевера” гонит... Как осточертело всё, если б ты знал! Кажется, плюнул бы да и ушёл снова в газету... Но там гроши, а дачу достраивать надо, квартиру ремонтировать надо, жене барахло разное покупать надо, сыну кружки и репетиторов оплачивать надо — вот и кручусь, обслуживаю тут... — он показал глазами вверх, — зато кое-что перепадает... с барского стола, так сказать... Надолго ли, правда, он, этот стол?

Вадик, изрядно тронутый хмельком, картинно подпёр щеку рукой, плутовато посмотрел на Бяку:

— Ты читал сказку, впрочем, это не сказка... самого ехидного русского писателя “Как один мужик двух генералов прокормил”, так и называется “Как один мужик...”, не читал? Ну, не важно, так я тебе скажу, что ты переплюнул того мужика из сказки — ты кормишь сразу пять, нет, десять генералов! Дай прочитаю... — Вадик поднял вверх правую руку и стал зажимать пальцы: — Главу, трёх замов, руководителя аппарата, полицмейстера, прокурора... и т. д. и т. п. Вот бы про что написать надо, я ведь когда-то неплохо писал! Но теперь уже вряд ли что когда напишу! — Вадик выпил и как-то стремительно вдруг “поплыл”, рассироился, умыл ладошкой, как ребёнок, пьяные слёзы на лице.

“Всё, готов!.. А про генералов он верно сказал”, — зло подумал Бяка и осторожно спросил:

— У генерала одного... шефа твоего... всё нормально? Ты что-то тут про стол...

Вадик собрался и постарался придать глазам трезвое выражение.

— Строго между нами, — зашептал он, — бандюги в сити-менеджеры протолкнули своего, тот в долгу лезет, а тут и так всё по краям... не на тебя же, в смысле таких, как ты, его сажать! В общем, война... поэтому и решились, у тебя до осени всё полежит... у тебя надёжно, кому в голову придет искать тут... главное, чтоб — никому, никому! — Вадик прикрыл веки и решительно замотал головой.

Бяке стало не по себе, страшно.

— А много там? — сорвалось против воли.

— Не считал! — с пьяным вызовом, в упор посмотрел Вадик. — Тебе-то какая разница!

Бяка обиделся.

— Я тут тоже только передаточное звено, — попытался извиниться Вадик.

— В чемоданчике десять кило с лишним, я завешивал... — хмуро заговорил Бяка, — одна любая американская бумажка — посмотрел в интернете — ровно один грамм... получается, если отбросить вес тары, на десять кило тянет ровно лимон зелени стодолларовыми бумажками? Правильно считаю?! — озадачил Вадика неожиданными выкладками Бяка.

— Ну, ты голова! Ну, ты Пифагор! — в пьяненьком восторге захохотал Вадик. — А мы говорим, народ у нас не тот, не въезжает народ! Да народ у нас самый умный! До всего додумается и докопается! Только бы интерес был! Голова у нас народ! И ты голова, Василич! Дай я тебя, Пифагорушка ты Романовский, поцелую! — Вадик порывисто приподнялся со скамейки и, перегнувшись через стол, опрокидывая рюмки, крепко сжав ладонями небритое, с вытаращенными глазами, лицо Бяки, жарко наградил того куда-то в шапку жестких, непромытых волос на голове троекратным поцелуем.

— Ну и волосы у тебя! — отстранившись, воззрился сверху на Бяку. — Как у Анджелы Давис... Дай на рассаду! Дай на рассаду! — снова куражливо полез с поцелуем.

— Ну, ладно, будет тебе! — разжал ладони Вадика Бяка, понимая, что гость окончательно спёкся. С силой, за плечи снова усадил Вадика напротив и, подумав, выровнял на столе рюмки:

— На посошок? — взболтнул бутылку.

Вадик согласно кивнул, замерев в позе птицы на морозе. Бяка вложил ему в руку до краев наполненную рюмку. Чокнулись. Вадик мучительно, содрогаясь, выщедил рюмку до дна. Глаза его, сверкнув белками, закатились под лоб.

— И это... всё что ты возишь ко мне... весь ихний общак? — решился и спросил всё-таки Бяка.

— Наивный, — прошептал Вадик, погружаясь в пьяно-беспмятный сон, — но лучше об этом... ни-ни... — сделал он последнее отрицательное шевеление рукой, — а то будет... больно...

“Сколько же воруют! — с необъяснимым восхищением и оторопью подумал Бяка, — если такие деньги гребут только в одном сраненьком районе! А по всей стране?!”

Он вспомнил, что в июле обещал этому заморышу Игорьку половину суммы, чтоб запаху того по осени не было здесь... и призадумался. Деньги у него были. Лежали где надо. Но это были его кровные денежки, добытые горбом и потом. Собирал он их на чёрный день, как НЗ, на всякий непредвиденный случай. И вот теперь какому-то наглому хорьку отдать из них сто пятьдесят тысяч? “И кто меня за язык тянул?” — аж зубами заскрипел Бяка. Он неприязненно покосился на размякшего, нехорошо побледневшего, беспомощного и жалкого в нездоровом, пьяном сне Вадика, и странное, недоброе видение вдруг застлало его сознание. Он представил неожиданно сгоревшую где-нибудь в лесу “Ниву” (для этого нужно задним ходом снова отогнать машину в лес, в колеях после дождей полно воды, по следам ничего не разберут), сгоревшую вместе с Вадиком, но... без драгоценного его чемоданчика. Лимон зеленью, огромные деньжищи! — будет ждать своего часа в укромном местечке, в таком, что ни одна ищейка не найдет! Уж он-то придумает! Как с тайником придумал! Ведь придумал же! А потом, когда всё уляжется, через несколько лет, прощай нищее Романово! Прощай, каторжный Свиный хутор! Привет, вечнозеленый рай на земле, на каких-нибудь далеких, жарких островах! “Менты копать глубоко не будут, разбираться на место приедут мелкие сошки, им вряд ли что-то про чемоданчик скажут... — горячо забилось в голове у Бяки, — но вот потом... потом появятся серьёзные ребята... и “будет больно” — усмехнулся Бяка, — Тоньку жалко, на глазах изуродуют...” Бяка испугался того, что он только что нафантазировал, отмахнулся от паскудных мыслей, и понял, что он тоже перебрал.

Но решение, что никаких денег, из своих, кровных, он Игорьку давать не будет, было им принято. “Тогда где взять, чтоб отдавать было не жалко?.. А вот где! — вдруг осенило Бяку. — Могли бы и отблагодарить за чемоданчик, так сказать, небольшим процентиком за хранение, — стал думать Бяка, — что я зря что ли рискую! Но от них дождешься! — и с ненавистью посмотрел на Вадика. — Растекся тут соплёй... столько окорока сожрал!” Бяка грубо схватил Вадика под мышки, жёстко встряхнул, как какой-нибудь мешок с картошкой, резко сдернул со скамейки и, пятясь задом, поволок к дому.

...Утром, опохмеляясь на кухне вчерашней водкой, — Вадик пить категорически отказался, жалостливо попросил, дрожа всем телом, чая покрепче, — Бяка мрачно, не глядя Вадiku в глаза, осведомился о возможности комиссионных за хранение денег.

— Ты чего, старина, добить меня хочешь? — простонал Вадик. — Какие комиссионные! Ты что хочешь, шефа разозлить? Кредитов лишиться? Прошу тебя, не грузи меня сейчас своей молодецкой, крестьянской глупостью. О, как мне хреново! — Вадик обхватил руками голову.

— Ну, как же так, — пробовал возражать Бяка, — я же рискую, ну, хотя бы два-три процентика... Ты намеки шефу... аккуратно так, как-нибудь.

— Нет, ты несносен, Василич! Ничего намекать я не буду! Какие процентики, что за чушь ты городишь? Отвяжись Бога ради! Дай лучше таблетку какую-нибудь от головы! — взмолился Вадик.

— Таблетки нет, а вот чайку попей, — с обиженным видом поставил Бяка перед Вадиком на стол кружку с дымящимся, свежезаваренным чаем. — Деньги очень нужны... за ответственность можно и подбросить... — снова было начал он.

— Ты, что, идиот полный?! — уже рассерженно зашипел Вадик, дуя на чай, не решаясь сделать первый глоток. — Тебе русским языком говорят — не налей! Тебе доверяют, а ты начинаешь борзеть... Подумай, что ты имеешь, и что можешь потерять из-за своей тупости! Давай больше без этой деревенской дури! — Вадик нахохлился и, приноровившись к горячей кружке, стал быстро пить мелкими глотками чай.

Бяка угрюмо вертел пустую рюмку в руках. Опохмелка обычно приносила ему облегчение, в голове отпускало, возвращалось настроение, даже какая-то куражливая веселость появлялась — так становилось хорошо. Сегодня всё было испорчено. Этот лысый дурень всё обкакал! А сколько словечек издевательских накрутил... и получилось, что Мишка Макаров полное чмо и мудака. Нет, он как-то еще гнуснее завернул... Бяка сиделся сформулировать, что его так занозило в словах Вадика, и пока не мог. Он почувствовал только, как наливается злобой.

Вадик, допивая чай и бегло оглядывая резко помрачневшего Бяку, внезапно сообразил, что на старые дрожжи наш человек вдвойне непредсказуем. “А ведь и по морде съездит за здорово живешь... Чёрт меня дёрнул с ним вчера напиться! Ещё вообразит себе!” — с досадой подумал Вадик, ощущая, как после чая его пробил оздоровляющий пот, как ему становится легче, как восстанавливается более или менее ясность в мыслях. Он понял, что надо как можно быстрее делать ноги и, похлопав себя по карманам в поисках ключей от машины, засобирался в дорогу.

— Ну, пока... загостился я у тебя. Дома, наверное, извелись, — сунул он, запоздало застеснявшись, мокрую от пота ладонь Бяке. Тот хмуро отозвался вялым, недружелюбно-холодным рукопожатием. — Значит, ты понял, до осени всё у тебя... — еще раз напомнил Вадик, — если что, звони! — и, вытирая руку носовым платком, юркнул за порог.

Бяка постоял у окна, понаблюдая, как Вадик возится у машины, протирает зеркала, лобовое стекло, машинально постукивает ногой по скатам, и, подумав, решил всё-таки выйти во двор, открыть передние ворота гостю. Пёс Байкал, увидев хозяина, в радостно-бурном порыве залаял, заметался у будки при воротах, приветственно отрываясь от земли на задние лапы на натянутой цепи. “Хоть кому-то я нужен ещё здесь!” — подумал Бяка, ласково

запуская руку в густую, вонючую шерсть кобеля на загривке. Байкал, извернувшись, подпрыгнул и несколько раз лизнул Бяку в лицо. Бяка мягко отпихнул собаку, сдвинул щеколду на воротах, распахнул половинки ворот и дождался, пока мимо проедет Вадик. Вадик, приветственно подняв руку и посигналив, проехал. Бяке захотелось, гримасничая, высунув язык, вытянуться во фронт и козырнуть, но он вовремя опомнился и только нарочито медленно пошевелил на уровне плеча растопыренной пятерней. Затем вернулся в дом, прошел на летнюю половину. Приоткрыл дверь в Тонькину комнату. Голубки ещё мирно почивали. Тонька под одеялом, казалось, ещё массивнее, бесформенным сугробом нависала над своим заморышем, русая голова которого со сбитыми, давно нестриженными волосенками смешно, помладенчески, торчала у Тоньки где-то посередине её полных, развалистых грудей. “Тьфу, ты... мерзость какая! — вознегодовал Бяка, с отвращением прикрывая дверь. — Поеду косить, разбуджу... Кто доить-кормить псарню будет, проспали всё, поганцы!” Сходил на скотный двор, рассерженно и нервно, кое-как отдоил все пять коров. Доил с опозданием на два часа, бедные коровёнки, настрадавшись, подпускали к себе с доильным аппаратом плохо, нервничали, на месте не стояли, молока дали мало. Бяка, чувствуя, что задерживается с покосом, не погнал их в общее стадо, выгнал в загон за скотным двором, решив, что к вечеру привезёт им подкормиться клевера с поля. Затем затопил печь в кормозапарнике, замесил кашу с комбикормом для свиней. И только после этого пошел будить Тоньку.

Когда заводил трактор, навешивал косилку, пробовал её на оборотах, неожиданно вспомнились и “крестьянская глупость”, и “деревенская дурь”, и Бяка вдруг понял, кто он для них... “Давить вас надо всех, ворьё ненасытно!” — с остервенением думал Бяка, выруливая на тракторе в сторону клеверного поля.

5

Первым желанием Витька, когда он отошел от болевого шока, было догнать своего обидчика и всадить ему куда-нибудь в почку нож, а потом ещё раз, и ещё, и ещё... Он нацупал в кармане куртки складник с откидываемым лезвием, сработанный ещё умельцами на зоне. Но мысль, что за нападение на полицейского грозит ему немалый срок, остудила его. Снова в тюрьму он не хотел. Только что вышел и обратно туда? Нет, так не пойдет. Туда рисковому человеку всегда успеется, а хотелось пожить вольготно, с оттягом, с ленивой беспечностью и удовольствием. А для этого нужны были приличные бабки, на деревенском баре хапок не сделаешь, а бабки нужно было ещё где-то добыть, не засветившись. Так что залипать с этим ментом в первые же дни на свободе был бы чистейший наивняк. А там время покажет, поквитаться ещё успеем... Так решил Витёк, осылая и принимая снова уверенно-беспечный вид. Впрочем, никто ничего и не заметил, исключая бармена. А бармен был старый кореш из Иванграда, замутились ещё до отсидки, вряд ли будет бакланить лишнее... Витёк приказал ему “хорошей” водки. “Ты ничего не видел”, — сказал на всякий случай, принимая рюмку. Выпил, закурил и вышел на крыльцо клуба. Боль при ходьбе ещё отдавала в паху. Витёк, морщась, присел на низенькие, с облупленной краской перильца и, без удовольствия покуривая, огляделся. Рядом, сбившись в стайку, длинно плылась и нарочито цветисто матерясь, перебивая друг друга в каком-то бессмысленном оре, пили дешёвое пиво из горла, беспощадно смоля одну сигарету за другой, полупьяные подростки. “Пацаны, а нельзя ли потише и без плевков!” — раздражаясь, сказал Витёк. Что-то было всё-таки не так, и ему отчаянно захотелось потрогать больное место, хотя бы через карман штанов. Пацаны почтительно притихли. “Шли бы вы, поплясали!” — не выдержав, сунул руку в карман штанов Витек. Пацаны как один, щеголевато отстреливая щелчками недокуренные сигареты в кусты за крыльцом, послушно, гуськом потянулись в клуб. Витёк, приветстав с перил, пощупал через тряпку кармана своё самое главное. Всё было при нём, кажется, целое и невредимое, он с облегчением вздохнул, повеселел и всмотрелся в дальний,

плохо освещённый угол крыльца. В толстой, с некрасивым круглым лицом деваче с трудом узнал дочку Бяки Тоньку Макарову. Рядом с ней крутился, что-то быстро говорил, часто вставал с перил и снова садился, механически-бережно придерживая правой рукой левую, какой-то доходяга, кажется, работник Тонькиного отца, что-то типа вывезенный с матерью из Москвы, вроде Игорьком зовут... Витек до этого встречал его несколько раз у деревенского магазина, запомнил. Придурки, отметил Витек, критически оглядывая пару. Он вспомнил Тоньку белёсой, неуклюжей свинкой в школе, всегда застенчивой и какой-то сконфуженной, смотревшей на парней старшекласников глазами, полными возделенческой мути раннего созревания. Внезапно что-то подсказало ему, что эта “толстая чмошница” и этот “полный задрот” могут быть полезны ему. Какое-то странное чутьё вдруг повело его к ним, как маньяка ведёт к уловленным жертвам. Тонька раздвинула тонкой, буратинистой прорезью рот в подобие улыбки и сделала попытку даже помахать ему рукой. Доходяга тоже обернулся в его сторону и остро, настороженно чиркнул глазами. Витёк, вдруг однозначно понявший, что ему надо от них, уверенно и с распоясанной небрежностью хулигана, шагнул в сторону парочки.

— А я смотрю, ты не ты... нет, думаю, всё-таки Макарова, — подошел Витёк к Тоньке с Игорьком, сдержанно улыбаясь своими красивыми, нагловатыми глазами.

— Да, давно не виделись, — смущённо зашарила руками по перилам Тонька, не зная, что сказать.

“Квашня тупая”, — подумал Витёк и протянул руку Игорьку:

— Виктор.

Игорёк представился, нарочито, как показалось Витьку, не отрываясь от перил. Ладонь у него была несоразмерно росту большая, каменно-загрубевшая, расплюснутая тяжёлой физической работой. Витёк хищно прицелился: “гонористый... вроде, не лох бздиловатый”, но оценил однозначно... “мужик”.

— А что так редко ходим в клуб? — спросил Тоньку. — Первый раз вижу вас здесь... Отец не пускает? Работа, наверное, всё работа... поле, свиньи, коровы.

— Да нет, — засмушалась Тонька, — отец, наоборот... хотя работы хватает.

— Как, кстати, батя-то, не женился ещё? Я его как-то видел тут, едет на новом тракторе, всё блестит, сверкает... вполне солидно чувак смотрится. — От Витька не укрылось, что при упоминании Тонькиного отца Игорёк напрягся и помрачнел.

— Не женился, — сухо сказала Тонька, — всё по-старому.

— Знатный жених... богатый, — пробросил Витек, — надо ему бабу найти... молодой ещё.

— Пятьдесят два, — уточнила Тонька.

— Не возраст для мужика, который всегда на свежем воздухе да на парном молочке, — внимательно, заиграв глазами, посмотрел Витёк на Игорька. Игорёк недовольно отвернулся в сторону. “Бяку точно не любит, — с удовлетворением подумал Витёк, — нормально!”

— А не принять ли нам грамм по сто за встречу? — предложил вдруг Витёк. — Выпить мне что-то сегодня охота... Как смотришь, Игориче?

— Да нам бы домой уже... — неуверенно сказала Тонька, просительно и по-свойски подергав Игорька за полу куртки. Игорёк промолчал. “Да они, похоже, спарились, — отметил Витёк, — Бяке круто повезло”, — ухмыльнулся про себя.

— Ну, так что, мужик? — с подначкой спросил Игорька.

— Можно и выпить, — принял вызов Игорёк.

Тонька неодобрительно зажевала тонкими губами, хотела что-то сказать, но хватило ума сдержаться. Витёк, пропуская её первой в клуб, поощрительно похлопывал за плечи, хотя его так и подмывало шлепнуть эту толстую свинью по её жирной заднице. Но тоже сдержался. Надутый-сосредоточенный вид Игорька говорил о том, что тот вряд ли бы оценил такой жест как дружески-

приятельский. А ссориться с ним сейчас Витьку было крайне нежелательно. Хотя этот заморыш своей остренькой, крысиной физой его явно начал раздражать. Вот бы кому он врезал сейчас с удовольствием, ни с того ни с сего... Витёк почувствовал, как его начинает переполнять не знающая выхода злоба, не отомщённая обида на Андриюху Смирнова и за что-то на всех окружающих разом, он уловил в себе, как начинает просыпаться, царапаться и метаться в нём тот зверёк бешеной ярости и сладостного нетерпения, который укротить можно было, только сделав кому-нибудь больно. Такие ощущения возникали в нём, когда он прижигал чужое, трепетное, покрывающееся испариной тело раскалённым утюгом, подносил шило к глазу... Проходя душный, блистающий рябью опрокинутого ночного неба зал с пляшущей романовской ребятиней, Витёк выхватил взглядом в высверках разорванных огней бледное, красивое лицо Людки Демьяновой. Витёк дотянулся до него своей злобой, словно ядом плюнул, и, умиротворенно предвкушая, на ком он сегодня может отыграться, стал остывать. Вполне спокойным и даже улыбочивым он провел своих гостей мимо бара длинным, тёмным коридором в комнату для частных встреч.

Это было небольшое помещение, почти квадратное, может быть, четыре на четыре метра, когда-то служившее кабинетом заведующему клубом. С тех далеких, уже полумифических времён на стенах комнаты каким-то чудом сохранились в простеньких деревянных рамочках несколько почётных грамот за призовые места в районных и областных смотрах Романовской художественной самодеятельности. Но на самом видном и почетном месте, в простенке между окнами, в пышной раме, богато декорированной раскрашенными под золото, невиданными, "райскими" цветами, красовалось, словно погребальный венок, свидетельство о регистрации Орешникова В. А. в качестве индивидуального предпринимателя. Стоял по стенке с тех незапамятных времен полированный, неубиваемый шкаф-шифоньер, в углу письменный, тоже ещё советский, из грубой ДСП стол, пара фанерных стульев. На полу был постелен вполне ещё сносный, незатёртый, чистый палас, на котором шиковатым островком были расставлены четыре мягких кресла и журнальный столик посередине. Витек усадил гостей в кресла, подошел к шкафу, открыл дверцу:

— Что будем пить, господа? Девушкам, естественно, винца, — бодренько сказал он, рассматривая полки, уставленные бутылками, — есть хорошее, чилийское. А мужчинам? Мужикам? Что желаете, ваш бродь, Игориче? Виски, коньяк?

— Да все равно, — пожал плечами Игорек, — можно виски. — Он всё сиделся разгадать, с какого это перекута блатной Витька Орешников так прогибается перед ними. Что-то подсказывало ему, что тут что-то не так.

Тонька из кресла внимательно рассматривала почётные грамоты на стене, потом встала и подошла к ним вплотную.

— Давно хочу выкинуть этот совок, — проследил за ней искоса от шкафа Витёк, — да обои полиняли, и под рамками теперь белые пятна. Надо переклеить стены и снять эту фигню.

— Во, а тут моя мамка, — как всегда нерешительно сказала Тонька и прочитала, конфузаясь, вслух: — "Награждается трио: Н. И. Ветрова, Л. М. Кабанова, Р. С. Макарова за лирическое исполнение песни "Старый клён"... — Тонька обернулась к Витьку: — Можно я её заберу, — сказала она, неожиданно разволновавшись. Витёк посмотрел насмешливо и с интересом:

— Да хоть все забирай... меня от этого коммунистского хлама тошнит. Бабки надо было людям платить, бабки! А они эти бумажки, которыми даже подтереться неудобно, совали. Порожняк гнали, вот и просрали всё... На бабках всё держится, на бабках! Америкосы давно это поняли, и живут лучше всех!

Тонька сняла рамку со стенки, сдула с неё пыль, вернулась на прежнее место. Грамоту положила под руку на столик.

— Вот видишь, — показал рукой Витёк на стену, — теперь белое пятно... Ладно, зеркалом завешу...

— Вот скажи мне, американец, сила в чем? — неожиданно подал голос Игорёк. — В деньгах? Я думаю, сила в правде, тот, за кем правда, тот и сильней.

Витёк с удивленной оторопью посмотрел на Игорька:

— Ты это... о чём?

— Да о том, на чём всё держится, — опустил глаза в пол Игорёк.

— Постой, постой, что-то ты очень знакомое сейчас сказал, — заинтересованно развернулся в сторону Игорька со стаканами в руках Витёк, — “сила в правде... за кем правда, тот и сильней”...

— Это “Брат-два”, — морщась, проронил Игорёк, укладывая нездоровую руку на колени.

Тонька могучно шевельнулась в кресле и с восхищением посмотрела на Игорька.

— Да, точно, вспомнил, — подошёл Витёк к столику и начал расставлять стаканы, бутылку вина, блюдец с солёными орешками, — нам это кино на зоне показывали... Много туфтового, но в целом ничего, там этот главный герой вполне правильного пацана играет... Но это же кино, Игориче, в жизни-то всё по-другому. Сила, она в силе, — посмотрел он на большую руку Игорька, — и в том, чем можно заткнуть каждого — в бабках. Всё остальное фраерский трёп... Так, значит, тебе вискаря? — снова победительно направился Витёк к шкафу.

— Не каждого можно заткнуть деньгами, — вдруг неожиданно вырвалось у Игорька, — иногда лучше сдохнуть, чем издевательства и подачки терпеть!

— Вот тут ты правильно рисуешь, — сказал, не оборачиваясь, на мгновение застыв перед раскрытым шкафом, Витёк, — от беспредела люди, бывает, на автоматы бросаются. “Это он, лопушок, зря, — быстро соображал Витёк, — тут он прокололся, тут мы его и пощупаем”. И уже не сомневаясь, взял с полки специальную бутылку виски с легкой дозой клофелина и разбавленный водой коньяк.

— У нас на зоне был мужик, который отказался ходить к куму, — начал по ходу сочинять он, возвращаясь с бутылками к журнальному столику, — решительно так отказался, не буду стучать и всё... Они его начали прессовать — придирки, избиения, карцер. Он не выдержал, бросился на колючку, ну, с вышки его очередь и срезали... Вот так, Игориче... понимаю тебя, давай за то, чтобы всё рассосалось! — Он налил полный стакан Тоньке и по половинке Игорьку виски и себе коньяку. Чокнулись. — До дна! — с воодушевлением предложил. — За встречу и знакомство!

Томка нерешительно подняла стакан с вином, вопросительно-предупреждающе взглянула на Игорька.

— А давай! — вдруг назло ей почему-то сказал Игорёк. — До дна, так до дна... Всё равно мы все на дне! — И неожиданно ловко, с каким-то странным профессионализмом, опрокинул разом стакан в глотку.

— Вот это по-нашему, по-пацански! — сказал Витёк и тоже махнул залпом свой разбавленный коньяк, выразительно посмотрел на Тоньку.

— Опыанею, — промямлила Тонька и начала пить вино мелкими глотками.

— Раз!.. — закричал Витёк, — два!.. три!.. — На “девять!” Тонька допила стакан, поставила на столик, вытерла ладошкой губы и решительно зачихнула почётную грамоту “с мамкой” в сумку под бок.

Витёк придвинул ей орешки, Игорьку предложил сигарету. Уже после первых затяжек Игорька повело. Усилиями воли он старался смотреть трезво, держать лицо, несколько раз в голове мелькало, что он хмелеет слишком быстро и не подпаивает ли его этот блатарь как-то специально? Он хмурился, старался смотреть на Витёка с упреждающей строгостью и даже спасительно попытался затупить сигарету в блюдец с орешками. Витёк недовольно встал и принёс с подоконника пепельницу.

— Между первой и второй... — брезгливо вытащил он окурок из блюдца и бросил в пепельницу. — Не так ли, красавица моя? — обратился к Тоньке и налил ей снова полный стакан. Тонька захихикала и, как

показалось Игорьку, “дала” Витьку глазами. “Мстит, что не пляшу под её дудку” — зло подумал Игорёк и отважно подставил стакан под горлышко бутылки, нацеленной в его сторону рукой Витька. На этот раз Витёк отмерил ему уже три четверти стакана. Игорёк, не дождавшись каких-то обязательных слов и чоканий, заглотнул в два приема и эту порцию вискаря. Тонька надулась и вылакала до доньшка, как воду, своё вино. Витёк, кажется, тоже принял еще коньяка. Вроде он даже как-то нарочито демонстративно водил перед глазами Игорька стаканом со светло-коричневой жидкостью... и картинно медленно выпивал, шумно выдыхая и крикая. “Это он показывает, что пьёт на равных”, — догадывался Игорёк и пытался додумать, связать мысли, что всё тут неспроста, но нахлынувшая обида на Тоньку, что сразу начала перед чужим, видимым мужиком задницей вертеть, ненависть к её отцу, что держит его за скотину бесправную, за раба свинячьего, так неожиданно больно сжали его сердце, что он едва не разрыдался и начал горячо рассказывать Витьку, впрочем, не Витьку даже, а кому-то другому, внимательному и всё понимающему, доброму человеку, что живет он хуже пса цепного, спит и ест в кормозапарнике, работает как негр на плантации за тарелку супа, что он давно бы повесился, если бы не Тонька, и что к осени он стрясет с Бяки кровные, потом заработанные, и уедут они с Тонькой отсюда куда глаза глядят... Впрочем, этого он уже и не помнил, как не помнил, когда перебралась со своего кресла к нему на подлокотник Тонька, как смущенно и нежно обнимала его и жалела, стыдливо целуя в голову. Не помнил, что он долго и бурно разъяснял Витьку, отвечая на его дешевые вопросы-подковырки, почему Бяка не платит ему, своему работнику, хотя всем известно, что Бяка мужик небедный. Осталось только в сознании, в какой-то кошмарной, лохматой мешанине сцен и видений, невнятное пятно смыслов, неясное мерцание мыслей, главных и определяющих тогда весь бред пьяных откровений... После мучительных попыток припомнить потом, о чём он больше всего говорил, вынырнуло вдруг откуда-то в памяти это нечто, это облако беспокойства и тревоги... И он вспомнил, что это была его болтовня о недавнем кредите Бяки и что помимо кредита тот немало выручил год назад на клевере, осенью на мясе, что денег у него где-то запрятано немерено... что их надо найти, взять положенное ему, честно заработанное, всего-то пол-ляма, и распрощаться навсегда с этим вонючим Свинячьим хутором, кормозапарником, кровососом Бякой.

...Спровадив с довольно бесцеремонными понуканиями в ночь практически уже ничего не соображающих гостей через запасный выход с тыльной стороны клуба, Витёк, довольный, что всё было разыграно, как по нотам, вернулся в завклубную комнату и первым делом спрятал поглубже в шкаф бутылку виски с клофелином (пригодилась всё-таки). Чувствовал он себя превосходно. Этот дешевый фраерок, доходяга грёбаный (хотя что-то он из себя мнит), при каком-то странном одобрении толстухи (может, и впрямь любит этого недоноска?), рассказал ему всё. Теперь он знал, где взять серьезное бабло... В самом добром расположении духа, вольготно закинув ноги на столик, Витёк посидел в кресле, покурил, погрыз орешков. Пить больше не стал, впереди было ещё одно важное дельце, в котором, знал по опыту, лишний алкоголь не помощник. Посидел, подумал, снял ноги со стола, энергично поводит вправо-влево раздвинутыми коленями. Боль в паху ушла полностью, нигде даже отдалённо не тянуло, не щемило. “И всё-таки надо проверить на деле, — усмехнулся Витек, — тут выпивка ещё, как обезболивающее...” Через пару минут бодро встал с кресла, расправил модные, узкие штаны на коленях, поднял в стойку (подсмотрел в каком-то сериале) воротник рубахи, откинул на плечах куртку и, не забыв щёлкнуть выключателем на стене у порога, вышел в зал.

Было уже далеко за полночь, веселье угасало, притушили музыку, отключили пульсаторы света. Никто уже не плясал, не резвился, кто не ушёл, утомлённо расселись за столики по углам, вяло потягивали пиво и коктейли. Людка Демьянова, изнуренно-похудевшая, а от того ещё более красивая, сидела с подружкой у барной стойки с высокой, цилиндрической стекляшкой в руках, улыбалась, искала рассеянно глазами что-то в воздухе. “Скучает...

это то, что надо”, — решил Витёк, подошёл и бесцеремонно положил руку на туго обтянутое джинсами бедро Людки:

— Грустно без мужика, Людок? Могу развеселить!

— Убери лапы, не в борделе! — грубо сказала Людка, сбрасывая руку Витька.

— Опоньки! Во мы как заговорили! — нехорошо засмеялся Витёк. — Недотрога, значит, — и тут же поправился, поднимая руки вверх: — Не в настроении... понимаю, нет проблем... Может, чего-нибудь посущественнее этого пошла, для поднятия духа, так сказать... — показал глазами на Людкину ёмкость с какой-то мутной жидкостью и долькой жёлтого лимона, проткнутого соломкой.

— Сегодня не хочется, — уже более миролюбиво сказала Людка и посмотрела на подружку: — Ты как? Я ухожу, — соскочила с высокого табурета, стала застегивать ворот рубашки повыше. — Идем?

Подружка, Витёк её не знал, видимо, из приезжих, — хитренько посмотрела из-под густой, низкой челки на Витька, потом на Людку, и благоразумно решила остаться ещё “на полчаса”. Витёк одобрительно усмехнулся: “Сечёт, коза!” и двинулся вслед за Людкой к выходу.

Ночь выдалась совсем не июльская — тёмная, после дождей прохладная. Небо с северо-востока, из-под светлой предрассветной полосы затягивало высокими, бугристыми облаками. С подоблачной стороны сердито налетал, шумел листвой на деревьях свежий ветер. Людка ёжилась в одной тоненькой рубашке. Витёк снял куртку, набросил Людке на плечи, попытался приобнять.

— Не надо, — сказала Людка, неприязненно и решительно выворачиваясь из-под руки Витька, — и, вообще, я одна дойду, — подумала, сняла куртку и вернула её Витьку.

— Что так? — посуровел Витек. Принимая куртку, не стал надевать, оглянулся, бегло пошарил глазами по сторонам. Ни души. До ближайших домов метров триста, все спят.

— Да как тебе сказать, Витя... — загадочно улыбнулась Людка. Витёк в сумерках не то чтобы увидел, скорее, почувствовал эту предательскую бабью улыбку: “Сучонка!” — Сегодня со мной случилось такое, — загаённо сказала Людка, — что нам... ну, в общем, нам лучше больше не встречаться...

— Понятно, — хмыкнул Витёк, — новый трахач появился... и кто он, этот шустрик?

— Зачем тебе... — показалось, снова улыбнулась Людка, — один хороший человек... он мне ещё со школы нравился.

— А я не хороший? — длинной струйкой сплюнул сквозь зубы Витёк, внимательно приглядываясь к темному силуэту у дороги заброшенной, полуразрушенной подстанции, когда-то питавшей электричеством зерносушилки совхозного тока.

— Я не это хотела сказать... при чём здесь ты? — попыталась оправдаться Людка. — Просто я поняла сегодня, что он мне нужен, ну, что он хороший...

— Хочешь, я скажу, кто этот “хороший”? — в упор посмотрел на Людку Витёк и стал торопливо, словно куда-то опаздывая, натягивать на себя куртку. Поравнялись с подстанцией. Людка, словно что-то почувствовав, со страхом посмотрела снизу вверх на Витька. Сказать ничего не успела. Витёк глухо и больно залепил ей рот левой рукой. Правой обхватил за бедра, оторвал от земли, потащил в разбитый проём подстанции. Поставил лицом к стене. Почувствовал, как затрепетала Людка. Людка невнятно под ладонью прокричала что-то. Коротким ударом кулака по почкам Витек прекратил всякое сопротивление... Он взял её яростно, с остервенением. Заканчивая насилие, прищемил мочку уха Людке зубами, пропентал:

— Привет твоему менту поганому передай...

6

Сенокос у Виталика Смирнова с того злополучного наезда косилкой на камни явно не заладился. И погода стояла отменная — каждый день солнце и ровный, тёплыми, нежными волнами суховея с юго-востока, откуда-то из

жарких далеких пустынь, только успевай утром, пораньше валить траву, шевелить в обед и сгребать к вечеру в воздушные, пролитые цветочными духами, кошны. И настроение было азартное, заводное, чувствовал себя Виталик превосходно, бодро, каждый день выпавшимся, вставал до солнца, успевал подоить коров, процедить молоко, включить сепаратор, пока поднимется Томка, а затем рвался на огромное, запущенное поле рядом с плотиной в окрестностях уютной, давно уже ставшей дачной, деревушки Хорьковки — там он после романовского оврага набирал каждое лето основную массу сена. Травы у запруды, рядом с водой, выдавались особенно сочные, чистые, без привычной осоки, пижмы и татарника. Коровы зимой, как давно приметил Виталик, ели сено с хорьковских делянок с удовольствием и бережливо, редкая прядка сена, как малосъедобная, выдергивалась чувствительными коровьими губами из кормушки и втапывалась в навоз... И с рабочими руками для дружной, особенно разворотистой работы на сенокосе был полный порядок. Приехал погостить, будучи в отпуске, из города брат Федька, шурина Колька, временно безработный после закрытия завода, зарулил от безделья в деревню к сестре на своей ухоженной “девятке” из Москвы... Три здоровых, сноровистых мужика, Томка, плюс родители на подхвате, Маринка, за все рабочие выходные взявшая недельный отгул. Андриуха, правда, не появлялся... Да такой артелью с сеном можно было играючи управиться недели за полторы.

Но уже на третий день аврала стал чихать и кашлять, глохнуть на ходу трактор. “Похоже, спёкся, железный конь... — сокрушенно определил Виталик, когда машина в самый неподходящий момент окончательно встала в поле, — пора покупать новую лошадку”. С помощью соседа Лёхи Зайцева, у того ещё каким-то чудом был в рабочем состоянии “дизель”, отбуксировали трактор к дому. Два дня с шурином ковырялись в железках. Два золотых, бесценных денёчка! Виталик злился, нервничал. Пришлось по утрам ездить на “Волге” с дедовской “литовкой” в Хорьковку. Но это же не работа, насмешка и издевательство какое-то — махать косой, продвигаясь вперед в час по чайной ложке, да ещё когда заедают поутру комары да мошки. Так до белых мух можно было промахаться... Спасибо, шурина оказался мужиком рукастым, к концу второго дня трактор всё-таки завели. Виталик на следующий день косил до глубокого вечера, заканчивал уже при свете фар. Насушили к субботе сена прорву, на двух коров точно, весь луг был заставлен островерхими, шлемовидными стожками. Теперь надо было энергично и решительно перевезти всё домой, на задворки, где за сараем обычно метали скирды на зиму. Виталик прицепил тележку с высокими, доскамишитыми бортами к трактору, народ — Томка, Федька, Маринка, Колька — побросали вилы и грабли в тележку, попрыгали через задний, низкий борт следом... Тронулись с шутками-прибаутками. Едва выбрались за деревню в сторону Хорьковки, на ходу отвалилась серьга у прицепа тележки, зарылась с разгону острым хоботом в землю, с бабьим визгом и суровым мужским матом попадали люди друг на друга в тележке. Хорошо, что всегда осторожный Виталик ехал на небольшой скорости, не гнал, как другие, а то и до увечий в таких делах не далеко... Приваривали серьгу на Свинячем хуторе у Бяки, только у него на всю округу был сварочный аппарат. Еще один день профукали. Ночью — вот уж не везёт так не везёт — украли половику стожков на лугу. Кто? Можно было только гадать. Следы от колесника вели к шоссе, а там, на асфальте, терялись. Пришлось Виталику навёрстывать упущенное, то есть пополнять украденное, ещё тремя днями ударной косьбы. И растянулся его сенокос не на полторы недели, как виделось сначала, а на все три.

Метал Виталик последнюю скирду на задворках уже только с Томкой. Городские помощники разъехались, родителей решили пощадить — возраст, достаточно намаялся за сезон.

...Виталик орудовал вилами у основания стога, как всегда в споре деле, с полной выкладкой сил, молча, сосредоточенно, нервно. Подходила к концу первая декада августа, пахнуло осенью, похолодало, утренняя туманная дымка долго не расходилась, готовая собраться в дождевые облака.

И Виталик спешил, решительно и глубоко насаживал на вилы сена побольше, с натугой, так, что вибрировал и выгибался гибкий черенок в руках, выбрасывал тяжёлые, лохматые охапки на скирду, где их принимала Томка, раскладывала равномерно по краям и середине стога, утаптывала.

— В серёдку клады побольше, в серёдку! — сердился Виталик, отбегая в сторону и критически оглядывая скирду, — выводы на конус, разлаписто получается!

— Ты бы раньше сказал, — кричала сверху Томка, — на конус теперь у тебя сена не хватит!

— Хватит! — недовольно откликался Виталик, задирая голову вверх и счищая ладонью сенную труху с шеи. — Могла бы и сразу подсказать, сверху виднее!

Томка оказалась права, сена на конус не хватило, скирда получилась раскисшая, широкая, с рыхлыми боками.

— Эх, набьёт дождя в серёдку, погнёт все к чертям собачьим! — вполголоса заругался Виталик вниз.

— Ну, что там? — громко спросила Томка. — Не слышу!

— Плохо! — ещё сердитее отозвался Виталик. — Воронье гнездо какое-то, а не скирда! Чего там ходила, мечтала!

— Ну, вот, я во всё виновата... — кажется, засмеялась Томка, — пройдишь побольше грабельками по бокам, подчени, постройнее будет...

— Сиди там... грабельками по бокам! — уже всерьёз начал злиться Виталик. — Сразу неправильно, слишком широко, заложили. Говорил, поуже, поуже надо было основание завивать!

— Что делать будем? — устало сказала Томка, усаживаясь на сено. — Притомилась что-то я.

Виталик нервно заходил вокруг стога с граблями, обтёсывая бока:

— Каракатица получилась, а не скирда!.. Плёнкой укрывать будем!

Он сбегал куда-то в сарайчик, где хранил инвентарь и всякую ерунду, притащил волоком порывевшую от дождя и грязи, сложенную в несколько слоёв (когда-то до теплицы укрывал огуречные грядки) полиэтиленовую пленку. Принёс лестницу, приставил к скирде, и, раскинув пленку по земле, стал подавать одним концом, забираясь по лестнице, Томке на верх стога. Плёнка удивительно точно, словно по заказу, укрыла половину скирды, легла по бокам почти до земли.

— То, что надо! — подобрел Виталик и сходил за ещё одним, таким же, куском плёнки.

Когда укрыли вторую часть стога, прижали плёнку от ветра тяжёлыми жердями, и спустилась по лестнице на землю Томка, Виталик, грустно посмотрев на жену, сказал:

— Всё! Надо в фермеры подаваться!

— Решился, всё-таки?! — Томка осторожно заглянула в потемневшие от тяжёлой работы и нервного возбуждения глаза Виталика.

— А куда деваться! — вскинулся Виталик. — Технику надо менять, всё износилось, всё! Это ж надо, серьга на ходу отвалилась... Хорошо, что ещё не угробил кого! Ворья развелось... А если бы пресс-подборщик был, я бы рулонов накрутил по четыреста килограммов, попробуй укради такой! И не возились бы сейчас с этими скирдами... Кредит дадут, всё что-нибудь посовременнее куплю. Бяка говорил, сейчас бэушная техника есть неплохая... и недорого... — Виталик, остывая, вопросительно посмотрел на Томку.

— Надо попробовать, а там видно будет, — незаметно вздохнула Томка. — У людей же получается, а мы что, хуже!

— Я вот думаю, с чего начать? — поборол неуверенность Виталик. — Бумажки всякие оформлять...

— А ты к Бяке сходи, чего стесняться... он опытный, что-нибудь да подскажет! — уже твёрже сказала Томка, помогая Виталику отнести лестницу к сараю.

Виталик согласился, сказал, что завтра же и съездит. Начал засеивать мелкий, как через ситечко, холодный дождик. Виталик, довольный, что с сеном управились вовремя, пошёл, почёсываясь, топить баню.

...Подруливая на “Волге”, со временем всё чаще тревожно поскрипывающей корпусом (и эта сыпется!), по аккуратной, недавно подсыпанной щебёнкой дорожке к Свинычьему хутору, Виталик с удовлетворением, как если бы это было его хозяйство, отметил вернувшийся порядок и чистоте по обочинам дороги. “С работником-то оно повеселее получается, а то без супружницы совсем завшивел Бяка”. Только вот голубые ели, густо высаженные вдоль шоссе, придавали дороге мрачноватый, какой-то траурный вид. “Я бы на его месте, как у того немца, посадил яблони”, — подумал мельком.

С угрюмым, тоскливо-озабоченным лицом встретил Виталика и хозяин усадьбы. Бяка, нахохлившись, сутуло сидел, поджав ноги, на скамейке у крыльца, длинными затычками курил, что-то невесело, задумавшись, перебирал в голове, не окрикнул даже пса, который злой, вонюче-мохнатой массой, гремя цепью, бросился без лая на Виталика из конуры у ворот. Виталик с трудом увернулся, шустро отскочив на безопасное расстояние.

— Зверюга, зажрёт, если наскочит! — сказал Виталик, бочком, не спуская глаз с ярившейся на задних лапах, задыхающейся в ошейнике собаки, приближаясь к Бяке.

— Думаешь? Надо испытать, — загадочно произнёс Бяка, вяло пожимая руку Виталика. Ладонь у Бяки была холодная и влажная, “какая-то неживая”, отметил Виталик. Да и всем своим видом Бяка был не фонтан. Очень уж бледное и рыхло-обвалившееся было у него лицо.

— Что смотришь? — сказал Бяка, с усмешкой фиксируя чрезмерно пристальный взгляд Виталика. — Что-то мне не по себе сегодня, кажется, сердчишко опять пошаливает, — осторожно похлопал рукой левую часть груди.

— Давай, сгоняю за фельдшерницей, — для порядка предложил Виталик, — может, укол какой сделает, тут шутить не надо...

— Ерунда, от переутомления, корвалольчику накапаю, пройдёт... Две недели с этим сеном спины не разгибал... сейчас вот за подлесок взялся, со стороны бора всё жуть как заросло, мульчер с трудом берёт, — смягчившимся на заботу Виталика голосом сказал Бяка. — Ты-то с сенокосом управлялся?

— Да кое-как, — махнул рукой Виталик, — техника совсем никуда, всё старое... Это ж надо, серьга на ходу отвалилась, ну ты знаешь, у тебя приваривали... — привычно начал он и, обрадовавшись удачному повороту в разговоре, заспешил перейти к сути дела.

Чем дольше говорил Виталик, тем отчуждённее и мрачнее становился Бяка. Думал он о чём-то своём, слушал вполуха. Лишь изредка из приличия поворачивал в сторону Виталика своё бледное, съехавшее лицо, усмешливо и затаённо улыбался. “Не вовремя я, что-то с ним не так, — ловил глазами настроение Бяки Виталик. — Надо всё-таки на обратном пути попросить Светку Пономареву забежать к нему...”

— Значит, всё-таки решился... ну, что ж... дело хозяйское, — медленно и неопределенно сказал Бяка, как бы выслушав до конца Виталика. — Тут главное решиться — или ты, или тебя! — неожиданно вырвалось у него. После чего Бяка долго глядел перед собой в никуда, старательно ковыряя носком сапога ямку в земле. — Мне сейчас, честно скажу, брат, не до тебя, — посмотрел он кисло на Виталика, — но я понял тебя... тебе нужен, как я понимаю, ходок, проныра. Один ты всю эту трихомундию с выделением пая, межеванием, кадастровым паспортом, лицевыми счетами не потянешь... Есть у меня такой, я ему, кстати, может, сейчас звонить буду... — Бяка сморщился, как будто хлебнул укеуса, — под ним одна юридическая фирмешка ходит, как раз такими делами промышленляют... Они тебя тысяч на восемьдесят-девяносто раскрутят...

Виталик насторожился, почесал под штаниной, видимо, укушенное муравьём место. Чёрные, крупные муравьи, как заметил он, сноровисто и озабоченно в изобилии сновали по столбикам скамейки и нижним доскам терраски. “Древоотщы, — машинально отметил Виталик, — разведутся, труха от тёса останется, надо было Бяке и терраску каменной строить...”

— А что делать? — продолжил устало Бяка. — Самому пороги обивать — дорожке встанет, каждой шпиготе придётся совать, а тут деньги пакетом отдашь, всё необходимое в одном пакете и получишь... По-божески возьмут и быстро всё сделают, они тут все в одном котле варятся... Это они тебя потом по-крупному будут ошкуривать, а пока моему знакомому будет только выгодно оформить тебя в фермеры как можно быстрее... По-божески возьмут, — повторил ещё раз Бяка, искоса наблюдая за беспокойно заерзавшим на скамейке Виталиком. — Да не бзди преждевременно, не в тюрьму идёшь, — ободряюще толкнул он плечом Виталика. — Запиши телефончик этого щегла... Я ему сегодня все-таки позвоню, — Бяка прерывисто вздохнул, — скажу про тебя, а ты ему в понедельник звякни, он все устроит быстренько... свои десять процентов не упустит. Есть на чем записать?

Виталик извлек из бокового кармана камуфляжной куртки, привезённой шурином с какого-то армейского склада, шариковую ручку, неизменный блокнотик с зарисовками кружевных налечников, коньков, подзоров (резьбу по дереву не забывал) и крупными цифрами записал мобильный телефон некоего Вадима Аркадьевича Труханова.

— А он, этот Вадим Аркадьич, кто? — потыкав ручкой в блокнотик, осторожно спросил Виталик.

— Да как тебе сказать? — раздражённо передёрнул плечами Бяка, — крутится рядом с Булкиным, то ли помощник, то ли советник какой... Станешь фермером — узнаешь... через него всё будешь делать. Извини, брат, — умоляющим жестом прижал руку к сердцу Бяка, — у меня тут срочные дела навалились... Давай, — пожал он снова без энтузиазма руку Виталика, — жми на педали!

— Как собаку зовут? — через плечо, вполоборота, спросил Виталик, направляясь к воротам.

— Байкал! — слабым голосом, не поворачиваясь, сказал Бяка.

— Байкал, Байкал, Байкалушка — свои, свои! — заворковал Виталик, предупредительно обходя на почтительном расстоянии пса, презрительно-равнодушно отслеживающего от будки, сидя на нагло раскинутых задних лапах, трусливо семенящего к выходу человека.

...К фельдшернице Виталик в этот день захватить забыл, он уже весь был в новых заботах и мечтах.

7

Не дожидаясь, пока гость отъедет от ворот, Бяка заторопился в дом, выпить что-нибудь от сердца. В груди, прямо посередине, что-то жгло и разрывалось. Такого у него ещё никогда не было, и Бяка испугался. Как можно быстрее, наплевав на крючком цепляющую в сердце боль, поднялся по крутым ступенькам крыльца, прошел общим коридором — в горнице у дочери противно смеялся Игорёк — на свою, зимнюю половину, на кухню. Добежал до холодильника, извлёк из пазухи дверцы пузырек с корвалолом, потряс в первую попавшуюся чашку пятьдесят две капли (по числу прожитых лет, как учила покойная жена Райка), разбавил из чайника кипяченой водой, морщась, выпил горькую, противно пахнущую валерьянкой настойку. Присел на табуретку, стал терпеливо ждать. Обычно минут через десять лекарство начинало действовать. Тут взяло не сразу, прошло с полчаса, а Бяка все продолжал сидеть скрючившись, мерно растирал грудь ладонью, незаметно для себя начал тихо и жалобно поскуливать. Из комнаты Тоньки уже на два голоса раздался весёлый хохот, потом кто-то, глухо стуча ногами по полу, побежал за кем-то, с грохотом опрокинулся стул, стала слышна весёлая возня, мерное поскрипывание кровати, сладкое постанывание. “Тьфу, ты, ни стыда, ни совести, поганцы!” — болезненно зажмурился Бяка и в который раз с неприязнью подумал, что зря он, сгоряча, не подумав, обещал этому “свиньячому повару” уже в июле отдать половину “выходного пособия”. Июль прошёл, а деньги, вот так, за здорово живешь, какому-то ублюдку отдавать не хотелось. Бяка даже застонал от расстройства, вспомнив,

с какой нагловато-вызывающей ухмылкой поглядывал на него последнее время Игорек. “Хрен тебе, а не деньги, вонючка! С голой задницей осенью выкину, бегай потом по судам! Кого пугать вздумал!” — мстительно думал Бяка, вставая с табуретки, забыв о сердце и вполне здорово, машинально направляясь к холодильнику. “Кажется, отпустило”, — с облегчением отметил, возвращая пузырек с корвалолом на место и заглядывая в морозилку, где в белом, заиндевавшем царстве лежало расфасованное по полиэтиленовым пакетам мясо. На сенокос Бяка обычно резал небольшую, но упитанную свинку, поддерживал силы свежей убоинкой. Бяка поворошил рукой смёрзшиеся, с сухим треском отпадающие друг от друга, жёсткие, словно каменные, свертки. Пересчитал (мясо Тоньке на готовку Бяка выдавал строго дозированно), один пакет, в холодном, мглисто-посверкивающем инее, развернул, заглянул внутрь, успокоенно снова свернул и засунул поглубже в морозилку... “Ну, что ж, надо всё-таки позвонить, поставить в известность!” — Бяка довольно решительно (боль совсем прошла) вышел из кухни и направился по коридору — у Тоньки лицемерно-стыдливо притихли — к двухмаршевой лестнице, ведущей в мансарду.

Здесь, на втором этаже дома, на высоте, мобильная связь была почище, поустойчивее. И толсто, плотно обитая войлоком дверь с лестницы, чтобы не дуло зимой с чердака, надежно защищала разговор от лишних ушей. Бяка пользовался обычно мансардой для особо серьёзных переговоров — с банком там, начальством из района, или когда что-то покупал-продавал на солидные суммы.

Резкими, короткими рывками Бяка плотно прикрыл за собой дверь на второй этаж, накинуд на всякий случай крючок. Прошёл в мансардную комнату, сел на продавленный, в ямах, старый диван у окна — единственное, что было здесь из мебели, чиркнул машинально указательным пальцем по мохнато осевшей по подоконнику пыли — пыль была здесь везде многолетняя, она серо выбелила и съела светло-жёлтую, праздничную налаченность сосновой вагонки, которой когда-то так старательно обил светелку Бяка, а потом выкрасил жёлтым “пенатэксом” и покрыл в несколько слоев лаком. “Думал, что внуки будут жить здесь летом... когда они будут теперь, эти внуки?” — вздохнул Бяка и включил телефон. Часы на мониторе показывали половину шестого. “Самое время, — подумал Бяка, нажимая на кнопку, когда вывернулась строчка “Труханов”, — работу заканчивает, пятница — короткий день... теперь можно и поговорить”.

Тем не менее, Вадик откликнулся не скоро, коротким, раздражительным:

— Слушаю вас!

— Вадим Аркадьич? — почтительно осведомился Бяка. — Здравсьте! Это Михаил Макаров из Романова, извините, что беспокою...

— Здравсьте, Михал Васильич! — нетерпеливо бросил Вадик. — Я сейчас в дороге с шефом... если можно покороче... Что там у вас?

“Вот это хорошо, что он с Булкиным!” — обрадовался Бяка, но привычно засмутился, зачастил:

— Сегодня на меня тут наехали! Требуют лимон! Вечером я должен оставить пакет в обозначенном месте! Не знаю, что и делать!

— Стоп, стоп, стоп! — неожиданно нервно и решительно остановил Бяку Вадик. — Отсюда помедленней! Кто наехал?... Давайте с толком, с расстановкой!

— Не знаю! — тоже возбудился Бяка. — Какие-то отморозки, зажали меня в поле... Я кусты со стороны леса корчевал!

— Как выглядели? Откуда взялись? — стараясь говорить спокойнее, стал уточнять Вадик.

— Как выглядели? В масках были, злющие, как голодные кабаны, наглые... — снова заторопился Бяка, — подъехали со стороны леса, по трелевочной дороге...

— Знаю, знаю... — машинально сказал Вадик и неожиданно спросил: — Лям... какими требовали?

Бяка не сразу понял, а потом дошло:

— Российскими... а какими же ещё! — вырвалось у него.

— Понятно, — Бяке показалось, Вадик облегченно вздохнул. — Ну, и что там у них, какие-нибудь особенности, приметы... запомнил? — уже деловито, переходя на “ты”, спросил он.

— Да, в масках, говорю, были... какие приметы! — вдруг открылся смысл предыдущего вопроса Бяке, и он почувствовал, каким-то особым наитием уловил, что дальнейший разговор уже не будет иметь никакого смысла, что он обречен. — Хотя, вот запомнил, — потускневшим голосом сказал Бяка, — у одного на руке была наколка... кажется, кораблик с парусом, он все кхыкал, ну, то есть, кашлял... а у другого на лапиче солнышко с лучиками вставало... А так, бандюги как бандюги... грозились, если деньги не принесу, инвалидом сделать, ну и все прочее...

— Когда это случилось? — продолжал уточнять Вадик. — Номер машины запомнил?

— Номер грязью замазан, — промямлил Бяка, — это было где-то часа два назад...

— Надо было сразу сообщить, — нарочито-недовольно буркнул Вадик, — в полицию звонил?

— Нет, вам первому... хотел пораньше, да тут один мужик из деревни заехал, все планы перебил, — снова зачастил Бяка. — Он, кстати, в фермеры надумал, я дал ему ваш телефон... Виталик Смирнов зовут, хочет в понедельник вам звонить...

— Ладно, ладно, с этим Виталиком разберёмся, пусть звонит, — взял начальственную, покровительственную ноту Вадик, — тут надо думать сейчас, что с тобой делать. Вот что, подожди минут десять, я перезвоню... Сиди тихо, жди! — Вадик решительным нажатием кнопки прервал торопливо-благодарное Бякино: “Все понял, буду...”

— Владимир Савельич, надо бы переговорить, — старательно, вытянувшись хоботком, подобрался Вадик с заднего сиденья к плечу важно откинувшегося в кресле рядом с водителем человека.

— Не опоздаем? — тяжело зашевелился человек на переднем кресле, прихватывая для удобства мясистой рукой верхнюю ручку.

— Идем с запасом в час, — сверил Вадик время на мобильнике, — в сторону МКАД из области в пятницу пробок не бывает... вот в обратную... это да, все на дачи ринутся... Звонок был серьёзный...

— Всегда у тебя всё серьёзное... сплошные проблемы... Вот так на море едем, — недовольно заворчал передний сидок, — тормозни, — бросил шоферу, — разомнемся немного. Без пиццалок? — обернулся к Вадиду.

— Желательно, Владимир Савельич, — оставил мобильник на сиденье Вадик.

Вышли из машины. Владимир Савельевич оказался крупным, солидно-представительным, с животом через ремень мужиком лет пятидесяти с небольшим. Большая голова без шеи, с густыми седыми волосами, тщательно постриженными “под Ельцина” времен окончательной трансформации того из секретаря обкома в президенты, сидела на широких плечах монументально и нескowyристо. По всему облику, упитанной, бычьей крепи, по особой багровости и рыхло-жеваной мордастости лица, чувствовалось, что этот человек любит с удовольствием и через край попить-поесть. Небольшие светлые глазки смотрели умно, строго, с холодком, как чаще всего смотрят глаза бывалого, пребывающего долго во власти и знающего всему цену человека. У такого, чувствовалось, не забалуешь. Про Булкина, а это был глава администрации Иванградского района, так и говорили — строгач, бычара, кого хочешь затопчет. Он, видимо, и затапывал, иначе не усидел бы на шатком и опасном, но доходном креслице начальника уезда восемнадцать лет.

Спустились по невысокой, отлогой насыпи шоссе (шофер, делая поправку на грузность хозяина, знал, где тормознуть) на довольно чисто выкошенную обочину, отошли к придорожному лесу.

— Ну! — повелительно бросил Вадиду Булкин. Вадик коротко и внятно, как на утреннем обзоре районных новостей, пересказал разговор с Бякой. Булкин недовольно засопел, характерно похрюкал носоглоткой, глубоко

вдыхая воздух через широкие, круглые ноздри разъехавшегося лаптем носа, раздраженно поерзал молнией на белой спортивной куртке.

— По уму-то, конечно, надо бы забрать... это... сам понимаешь, у твоего фермера, — сердито начал выговаривать Вадику, — но возвращаться уже поздно, — Булкин агрессивно, двустолковой, раздул ноздри, — чем он думал, козел, хотя бы на два часа раньше... этот твой хранитель?

— Растерялся, да, говорит, как на грех подъехал какой-то местный мужик, который в фермеры хочет, как я понял, за советом, — заюлил Вадик.

— Да-а, — процедил, холодно и отстранённо смерив Вадика взглядом, Булкин, — я, как чувял, когда ты мне подсовывал этого хуторянина... “Место безопасное, уединённое, удобно скрытно подъезжать”, — напомнил он какой-то разговор Вадику и снова сердито засопел. — Ну, ладно, будем надеяться, обойдется... То, что они попросили российскими, это хорошо, это, ты прав... они о главном не знают... Вот что, — Булкин внимательно посмотрел на носки своих дорогих, светлой желтой кожи, надеваемых обычно в отпуск за границу, легких, щеголеватых мокасин, перевел взгляд на бело-голубые, пижонистые кроссовки Вадика. — Как только вернёмся вечером в воскресенье из Испании, полетишь впереди меня, как бог Гермес на своих волшебных штиблетах, к своему хуторянину, возмёмшь всё у него, схватишь в охашку и в другое место... и больше ни шагу туда! Только бы твой столыпинец продержался до понедельника. Так ему сейчас и скажи — продержись до понедельника! Посули три... нет, два, полтора... хрен с ним, два процента!.. Чтoб было за что под утюгом партизаном молчать! Разумно? — вперился бычьим взглядом в Вадика Булкин.

— Отлично! Вы, как всегда, Владимир Савельич, в корень... — сладко пропел Вадик. — Может, это... для подстраховки наряд вызвать?

Булкин задумался, носорожисто потоптался на месте:

— Вопрос, кто их навёл на этого вольного хлебопашца? Нет ли тут следочка к нашему недавнему, этому, как его, Господи прости... сити-менеджеру? Раз его криминал поставил... не копает ли он по нашим финансовым агентам? — стал размышлять Булкин. — Допустим, что это так. Допустим, он хочет отщипнуть себе кусок пирога, заметим, от нашего пирога, нанимает каких-то пацанов, прощупывает финансовые источники, начинает с того, что на поверхности лежит... Фермер, мол, кредиты от администрации получает, пусть и со мной делится... Может быть такое? Может. А наш главный полицмейстер, как меня начали информировать, в последнее время что-то попой вертит, говорит, мало ему отстёгивают... начал с этим, сити-менеджером, корешиться... хотят, похоже, свою игру с баблом в районе замутить... Ну, ну, пусть попробуют! — Булкин сжал кулаки и словно налил свекольным соком. — Так вот с нарядом этим... Можно, конечно, позвонить... менты вышлют группу, рэкет как-никак, обязаны отреагировать... А если эти пацаны по наводке от сити-менеджера, и полицмейстер об этом знает, он уж тут не пропустит возможности направить с нарядом к нашему фермеру своего опытного человечка... Без утюга расколот хуторянина! А?

— Мудро, Владимир Савельич, мудро! — продолжал насахаривать Вадик. — Тут, как говорится, врач не навреди...

— Не понял, — строго возрился на Вадика Булкин, — при чем здесь какой-то врач?!

— Это я к тому, что торопиться не следует, — вывернулся Вадик.

— Молодец, — понимающе ухмыльнулся Булкин, — торопиться с нарядом не будем... Может, они, с другой стороны, залётные какие... налететь, срубить денюжат по-быстрому и снова под корягу... А мы шум поднимать начнём, протоколировать, в сводки заносить...

— Вполне, очень даже может быть, — заученно просиял глазками Вадик, — тут к вашим словам одна деталька вспомнилась, — он на короткое время, буквально на секунду, таинственно вскинул вверх указательный палец, — Макаров, ну, этот фермер, говорил, что у одного на руке наколка лодки с парусами, парусник... а у другого солнце с лучами встаёт... Это о чём говорит? Тот, кто с парусником, вор, который не ворует, где живёт... залётный, выходит, однозначно залётный! Вы тут в точку!.. А, тот, кто с солнышком,

значит, недавно откинулся... на мели сидит. Вот и скорешились друганы в легкую бабок срубить у фермера, по-тихому, в деревне... Залётные они! Точно!

Булкин заулыбался:

— С кем работаем... — насмешливо окинул Вадика взглядом, — мы и в наколах знаем толк!

— Вот всегда вы так, Владимир Савельич... а я серьёзно, — сделал попытку обидеться Вадик.

— Да ладно тебе, вижу, что серьёзно, — примиряюще похлопал его по спине Булкин, — вернёмся, пробьём по своим каналам, что за птахи. Ну, а пока успокой этого фермера, про проценты не забудь... Пусть продержится до понедельника... с нарядом торопиться не следует... Поехали, самолёт ждать не будет!

...Из витиеватых, полных недоговоренностей и намёков, разъяснений-указаний Вадика Бяка понял, что нужно особо следить “за главным предметом”, что ждёт его, Бяку, награда за “содействие и мужество” в “две единицы с колечками от всего”, что нужно продержаться до “ночи на понедельник”, когда он, Вадик, “вернувшись с шефом вечером в воскресенье из командировки”, сразу же “заглянет с надёжными ребятами” и всё уладит.

Когда разговор был закончен, Бяка ещё долго стоял у окна светёлки, машинально потирая влажным и нагретым от вспотевшей ладони мобильником лоб, рассеянно вглядывался в мутно-запылённое, с высохшими серыми пятнами от дождевых капель стекло, мало, что видел, тяжело собирался с мыслями. Внезапно он понял, что не услышал от Вадика главного для себя, что делать ему дальше, нести или не нести этим, в масках, деньги? И до него дошло, что никого его проблемы не интересуют, что всем плевать с высокой колокольни, что будет с ним, с его дочерью, с его кровно заработанными, наконец. А интересуют их там, наверху, только их собственные денёжки, только их выгода, только их интересы, и больше ничего. Он для них всего лишь так себе, резинка, для одного дела. Обидно стало Бяке, горько обидно. И ещё, вдруг Бяка понял, что остался он со своей бедой один на один. И никто ему не поможет. И он принял решение, что не отдаст этой мрази ни копейки. Сдохнет, а не отдаст! И снова острым крючком вонзилась в его сердце боль, невозможно стало вздохнуть полной грудью. Казалось, что вот-вот что-то лопнет там в пульсирующем комочке жизни... Бяка сел на диван, стал дышать мелкими порциями, короткими, крайне осторожными затяжками воздуха растаскивать болевое сцепление в сердце. Когда немного отпустило, посмотрел время на телефоне. Было восемь тридцать. Внизу хлопнула дверь на улицу. Тонька пошла загонять коров. До встречи с “крутыми” оставалось полчаса. Бяка подумал, что зря он весной не кушил у заезжего, загулявшего егеря казенный охотничий карабин “Сайга”. И просил-то тот всего ничего, на пару бутылок...

Примерно в это же время, в блистающем огнями, промытым стеклом, глянецом пластиковых панелей, никелем хромированных стоек, яркими подсветками баров и бутиков столичном аэропорту “Домодедово” начиналась регистрация пассажиров на рейс Москва — Барселона. Вадик с Булкиным с наработанной неспешностью привычно влились со своими аккуратными, чистыми чемоданчиками на колесиках в толпу дорого и по-спортивному одетых людей, отправляющихся покупаться и понежиться на просторных, ухоженных пляжах солнечной Каталонии. И хотя у Вадика с Булкиным среди вещей, прихваченных в дорогу, лежали шорты, плавки и пляжные тапочки, летели они в Испанию в этот раз не ради теплого моря и ленивого полеживания в шезлонгах в сладкой полудреме на прокаленном солнцем пляже. Основное место в чемоданах наших путешественников занимали легкие, светлых тонов, солидные костюмы, галстуки, смена небедных туфель и сорочек. Конечным пунктом перелета в Барселону для Булкина и Вадика был небольшой, старинный, чрезвычайно уютный городок на каталонском взморье, с пульсирующем-дробным, воспламеняющим воображение, как перестук кастанет, названием Мальграт-де-Мар. Всего в часе езды от Барселоны, крупнейшего, между прочем, делового центра Европы. С деловыми соображениями и расчётами собрались и Булкин с Вадиком из затерянного среди русских

равнин Иванграда в затерянный среди каталонских, оливковых холмов Мальграт. Летели наши друзья на восточное побережье Испании, чтобы оформить на двоюродную сестру Вадика покупку небольшой, всего в триста квадратных метров, но очень уютной виллы в стиле модерн начала двадцатого века, с пальмами и бассейном, в черте старого Мальграта, где века сплели нежно-уютное, каменное кружево улочек, где всегда всё надраено и умыто до блеска, лампадно-прозрачно от сияния и синевы моря, с осторожным, вкрадчивым шорохом накатывающегося где-то рядом на берег. Год назад отдыхал здесь с женой Булкин, правда, в новом городе, где отели, магазины, бары и рестораны, где ни днем, ни ночью не спят люди, где не утихает музыка и ищет кратковременных и острых ощущений разноязыкая толпа. Однажды после ужина вышли они прогуляться вдоль моря и как-то незаметно свернули на аллею, уводящую к тёмным силуэтам прибрежных холмов. Каково же было их удивление, когда они вступили в совершенно иной мир древнего испанского городка, где, как когда-то в русских деревнях на скамеечках, сидели в плетёных креслах перед домами люди, о чём-то неторопливо переговаривались, где играли дети в мяч, где неброско работали вечерние магазины и в нешумных кафе под открытым небом коротали время за кружкой пива крепенькие дедки, возможно, когда-то налитые яростной, взаимно-испепеляющей ненавистью “республиканцы” и “фалангисты”. Сидели рядом со стариками и молодые люди, с красивыми, особенно у девушек, рельефно очерченными, чувственно-взрывными лицами. Но никто не кричал и не выяснял отношения. Всё проходило правильно, с достоинством. Это было так трогательно и мило, что Булкин с женой, вернувшись в отель, решили, что вот так и здесь надо доживать в старости. “Меняю Иванград на Мальграт”, — плутовато щурясь, характерно хрюкая носоглоткой, сказал Булкин Вадика по возвращении домой. “Остроумно, Владимир Савельич! Остроумно, ничего не скажешь!” — расшаркался, как обычно, Вадик.

8

Было уже достаточно поздно, где-то около одиннадцати вечера, когда к задней двери романовского клуба почти бесшумно на нейтральном ходу (от шоссе под горку), при выключенных фарах, мягко шурша по заросшей травой грунтовке, подкатила заляпанная грязью, выдавшая виды, битая-перебитая “пятёрка” (как она еще бегала, бедная!). Витёк Орешников, особенно чутко прислушивавшийся в этот вечер к каждому шороху за стенами своего кабинетика, пропустил приезд ночных гостей. Согретый и расслабленный коньяком, он вздрогнул в кресле, когда услышал стук в плотно занавешенное окно. Осторожно, залипнув в простенке, узко отодвинув штору и с опаской глянув в темноту, он узнал стучавшего. Легко подхватившись, скорым шагом, почти выбежал в коридор, провернул ключ в замке. В коридор поочередно, напряженно и опасливо зыряка по сторонам, вступили с улицы двое. Впереди, одетый в просторную, темно-серую блузу с капюшоном, был широкий, почти квадратный, с длинными руками до колен, весьма примечательный субъект, о которых принято говорить, даже мельком взглянув, “типично бандитская морда” — хряповидно-округло-наглая, словно слепленная из увесистых, с кровью, отбивных, настолько она была багрово-сыра, бесформенна, рыхла. Только крохотные “моргалы”, светящиеся неистребимой пакостью, выдавали в ней что-то “человеческое” (если так можно было сказать).

— Здорово, Кокос! — низким, приглушённым голосом, непрерывно озираясь, приветствовал он Витька, протягивая лапу, густо и страшно заросшую поверх кисти крупным, рыжим волосом.

— Привет, Паук! — сдержанно, с долей скрытой иронии, отвечал Витёк.

Второй был как-то анекдотично во всём противоположен первому. Выше среднего роста, узкоплеч и узкогруд, худосочен. Под глазами не отменяемые черные синяки. Подкашливая, он поздоровался с Витьком кивком головы, словно боясь словом невзначай вычерпнуть из себя что-то дорогое и важное для жизни. И глаза его приторможенные смотрели бережливо, без растраты, с затуханием.

— Привет, Синяк! — заметно теплее поздоровался с ним Витёк. — Направо, в комнату, — нетерпеливым движением руки поторопил он гостей, вглядываясь в конце коридора. Там было пусто. Звучала негромкая музыка, светились разноцветными огоньками топер, подвешенный к потолку в зале. И практически никого. В эту пятницу, как ни странно, с посетителями в баре было не густо.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Витёк уже в комнате, закрывая дверь поплотнее.

— Два часа ждали... не привез, падла! — выругался квадратный, внимательно приглядываясь к столику с коньяком и орешками.

— Его проблемы... потеряет больше, — отследив взгляд квадратного, направился Витёк к шкафу за рюмками.

— Я говорил, Кокос, надо было прессовать его сразу на хуторе! Попялили бы девку у него на глазах, сразу бы всё отдал! — заворчал квадратный, не без удовольствия отмечая появление на столике ещё двух рюмок.

— Тебе бы только паялить кого-нибудь, Паук, — ухмыльнулся Витёк, разливая коньяк. — Тоньше надо работать... тоньше, за вымогательство с применением насилия дают в два раза больше... А ты и так только откинулся!

Паук скорчил недовольную гримасу, первым вытянул лапу к коньяку. У запястья под звериным волосом синело восходящее солнышко с шестью короткими лучами.

— Башли нужны, Кокос, башли! Ты вон своё дельце тут замутил, коньяк жрёшь, а мы с Синяком по нулям! — огрызнулся Паук и опрокинул, ни с кем не чокаясь, рюмку в рот. Порылся толстыми, волосатыми пальцами в тарелке, зажевал орешками. Витёк неодобрительно поглядел на Паука, тоже выпил. Закусывать орешками после Паука не стал. Синяк повертел коньяк в руках, понюхал, поставил на столик. Из-под задравшегося рукава куртки, выглянул безобидный, как на детских рисунках, веселый кораблик с парусами.

— Ты чего? — кивнул на рюмку Витёк.

— Тубик, таблетки сильные жру... — уныло, сдерживая кашель, выдавил Синяк.

— Ему айболита хорошего надо! — мрачно изрёк Паук. — А где лавье?

— Лавье будет, мы его добавим! — пристально вглядываясь в Синяка, сказал Витёк. — До рублика всё отдаст, да ещё с процентами... Мы его на счётчик поставим. Когда днём наехали на этого придурка в поле, морды прикрывали? — спросил у Паука. Тот кивнул и подлил себе ещё коньяка. — Не хочет по-хорошему, сегодня же начнём отжимать — медленно, с подкруткой, только сок потечёт... — Тёмные глаза Витька стали ещё темнее. — Не включает вовремя голову, тогда и до девки его доберёмся, — с ухмылкой посмотрел на Паука, — а пока вот что...

Паук с Синяком навестили уши. Витёк, на голову выше всех, наклонился к ним и, старательно уклоняясь от дыхания Синяка, шепотком изложил план действий на ночь.

...Когда минуло девять, и выбор окончательно определился, и стало ясно, что вопреки здравому смыслу, чувству самосохранения, природной осторожности, ничего уже, из-за неожиданного, дерзко-упрямого желания действовать наперекор всему, отменено не будет, Бяка почти физически почувствовал, как сомкнулись, захватывая его всего, хищные, неумолимые створки какого-то прочного, не размыкаемого капкана. Бяка ощутил, что с этого момента игра пошла на опасный разогрев, с непредсказуемым, вполне вероятно, печальным концом. И он запоздало засомневался, заметался в чувствах и настроениях — может, как всегда надо было сделать — стерпеть, подчиниться жесткой, организованной силе — власти, бандитам, да какое имеет значение кому, главное, чтоб более сильные и агрессивные отвязались, не трогали его, не мешали жить... Но выбор был сделан, и ничего отменить уже было нельзя, и некому было помочь, встать рядом с ним, Мишкой Макаровым, простым деревенским мужиком, размечтавшимся когда-то стать

хозяином, поверившим вещавшим откуда-то сверху витиям, что можно быть этим самым хозяином, независимым, самодостаточным, отвечающим только за себя. Бяка внезапно подумал, что вот тут-то и кроется главная причина того, что с ним сейчас происходит. Он же хуторянин, одиночка. Он сам хотел этого, и сам всё сделал так, что надеяться он мог теперь только на самого себя. “Вот загнись я сейчас здесь, и никто не придет на помощь, — с ядовитой обидой на всех подумал Бяка. — Даже дочь родная не побеспокоится внизу — где ты, отец, что с тобой?!”

Он лёг ничком на диван, пропитанный сухой, чистой пылью, ещё пахнувшей июльским зноем и раскалённой на солнце крышей, и тихо, бессвязно заканючил, как когда-то в детстве, спасаясь от зубной боли на печке, где, крутясь и не находя себе места, интуитивно прижимаясь больной щекой к горячим кирпичам, старался заглушить, умиротворить ломоту в зубах и побыстрее заснуть. “А как же надо тогда жить? — заворочался Бяка на диване, принимая позу поудобнее и улавливая в себе мягкие, приятные позывы ко сну. — А надо жить среди людей, — внезапно явственно пришло Бяке в голову. — А как это — жить среди людей? — задался странным, каким-то чуждым для себя вопросом Бяка и удовлетворился столь же несвойственным для себя ответом: — Это когда все работают сообща, живут сплочённо, вместе радуются и переживают, если что... вместе дают отпор, если враги приходят”. “Правильно думаешь, Миша, — внезапно возник из ниоткуда Сергей Васильевич Дьяконов, — я всегда знал, нагуляешься, наживёшься на хуторах, снова к нам вернёшься”. “Куда возвращаться-то, совхоз давно разрушили! — опешил Бяка. — И вы, Сергей Васильевич, тоже умерли!” “Зря разрушили, — печально покачал головой Дьяконов, — был бы совхоз, отбили бы от любых бандитов... Да и не было их при нас, это сейчас их распустили, а мы им воли не давали”. “Верно говорите, Сергей Васильевич, как клопы лезут изо всех щелей, — согласился Бяка, — давить их надо... И что мне с ними теперь делать?” “Все, что мог, ты уже сделал”, — сказал многозначительно и туманно, растворяясь куда-то, Дьяконов... и Бяка проснулся.

Спал он около часа, не больше. В доме было нехорошо, с каким-то нежилым замиранием, тихо. В светёлке окно непроницаемо сливалось с чёрным небом. Не перелетал, как обычно, шумным табунком ветер с верхушки на верхушку деревьев, не скреблись мыши между двойными полами, не гремел ценью пёс у будки. “Какой мрак и глушь... как в могиле, — приподнялся Бяка с дивана, сел, вслушиваясь в темноту, — а эти, наверное, опять в клуб ушли?” И странно, впервые Бяка подумал о Тоньке и её ухажёре, этом работничке Игорьке, особенно об Игорьке, без раздражения и неприязни. “Черт с ней, пусть делает, что хочет, никого лучше, похоже, она здесь, действительно, не найдет... Доверчивая, наивная, дура полная... Не дай Бог, останется одна, затопчут ведь”, — с жалостливой нежностью шевельнулось в душе. Впрочем, чувство это прошло как-то вскользь, особенно не занимая его. А занимало его всего, можно сказать, овладело им, послевкусие этого странного сновидения с Дьяконовым. Никогда ему прежде не являлся в снах старый директор Дьяконов, с чего бы это, с какой стати?! И слова его... Чушь, чепуха какая-то, но странная, настораживающая, недобрая, ощущал Бяка, чепуха. “Покойники снятся к перемене погоды, — вспомнил Бяка из детства слова бабушки, — к перемене, так к перемене... но Дьяконов сказал с намёком, как-то приговорно...” Снова пугливо проснулось, заняло сердце. “Все, что мог, ты уже сделал”... Неужели? — в дурном предчувствии загнулся Бяка, не решаясь сказать себе то, что уже проговорил как-то особо в неподвластных глубинах сознания. — Нет, дурь какая-то, совсем спятил здесь, на чердаке, в этом пыльном гробике”. Бяка встал с дивана, вытягивая вперёд руку, ощупью добрался до двери, нашарил и откинул крючок, включил свет на лестнице. Сердце, почувствовал, прибавило в оборотах, слышимо и громко запульсировало в груди, к счастью, без боли, и Бяка, повеселев, вполне здорово и уверенно заскрипел вниз по ступенкам.

На кухне он, отворив, заляпанную полустёршимися, переводными картинками (детское увлечение Тоньки) дверцу холодильника, долго и придиричливо рассматривал его содержимое. В холодильнике вроде бы было все

и в то же время ничего. Банки с покупными маринованными огурцами — на любителя, рыбные консервы, тушенка, кусок вареной колбасы с потемневшим срезом, сыр, сосиски — всё невкусное и противное. В пластмассовой пазухе дверцы торчала початая бутылка водки. Бяка, поколебавшись, извлёк её за холодное, скользкое горлышко и переправил на стол. Пошарил глазами еще по полкам холодильника и нашел то, что нужно. Это были, завернутые в промасленную бумагу, остатки домашнего окорока с той самой, памятной пьянки с Вадиком. Бяка, вспомнив сколько его тогда сожрал Вадик, не без удовольствия на ощупь отметил, что осталось ещё достаточно. Налил в чайную чашку водки, граммов сто пятьдесят (“А сердце? А все равно!”), нарезал окорока, хлеба — махом выпил, торопливо набросился на копченую свинину. Потом еще добавил в чашку, и ещё... Через полчаса ему однозначно стало хорошо. Задыхал полной грудью, порозовел, выкурил несколько сигарет кряду. “Не всё ещё сделано, не всё! В понедельник придет Вадик с ребятами... и мы ещё посмотрим!” — воинственно думал Бяка, стараясь забыть, заглушить страх и уныние в сердце. Да и само сердце как-то утихомирилось, встало на место. Бяка нашёл под печкой, где ещё по старинке хранились ухваты, охотничий топорик, которым зимой колол на кухне лущину на растопку, и поигрывая им, увесистым и ладным в руке, вышел из дома. Ночь для начала августа выдалась особенная, странная какая-то, без звёзд, просветов и сполохов, вся в чёрном, как скорбящая, поражённая горем, вдова, бестрепетная и беззвучная. “Чудно, вроде и облаков сегодня нет”, — отметил Бяка, посмотрев с крыльца на небо. Он включил свет в беседке, решил оставить его до утра, обошёл двор, проверил замки на сараях, спустил Байкала с цепи. Тот бурно обрадовался, долго прыгал вокруг, благодарно лаялся, а затем с ошалелой страстью кинулся нарезать круги вдоль забора по всему участку. “Вот так и гоняй всю ночь, неугомонный!” — поощрительно подумал Бяка и вернулся в дом.

На кухне он приложился ещё раз, хотел добавить, но, пересилив себя, оставив немного на доньшке (как там утром будет?), решительно спрятал бутылку в холодильник. Он был уже тепленький, когда добирался до постели. Но по пути не забыл закрыть в своей комнате дверь на самодельный, железный засов, сунуть топорик в изголовье, проверить шпингалеты на окнах. Заснул мгновенно и глубоко. Не слышал, когда вернулись с “танцев” Тонька с “хахалем”. В конце вечера, захмелев, он снова осерчал на Игорька и снова решил “никаких денег этому шнурку не давать”. Но в целом он засыпал в хорошем, можно даже сказать, благодушном настроении. Короткие мгновения человеческого благополучия!

На границе утра и ночи, когда ещё совсем темно, но вкрадчивые, едва различимые, тихие и размытые, как призраки, предрассветные сумерки опиесмеживают веки и веселящим газом утягивают в омут грёз и сновидений, Бяка тяжело и не сразу проснулся от крика Тоньки и сильных ударов в дверь (колотила, видимо, пяткой):

— Папка, горим! Пожар! Пожар!

Тут Бяка враз очухался и протрезвел, прыгнул с постели проворно и ловко, как спрыгивал, может быть, только в армии под свирепый сержантский рык “рота, подъём!” — сунул ноги в ботинки, спал не раздеваясь, кинулся к двери.

— Где горим? — с лязгом откинул засов.

— Да слесарня твоя, там! — слезами залилась на пороге Тонька.

“Чемоданчик!” — молнией пробило Бяку. Сердце сорвалось с места и раскалённым углём прожгло грудину. Бяка, морщась от боли, зачем-то метнулся обратно к постели, выхватил топорик из-под подушки, бросился мимо оторопело-испугавшейся Тоньки на улицу. Не помня себя, в горячке, как молодой, проскакал по ступенькам крыльца вниз и, нелепо размахивая топориком над головой, топчя грядки, ломанулся напрямки к мелькающему сквозь деревья жёлтой зареву. Когда подбежал, спасте что-то было поздно. Пламя уже вырывалось высокими, оранжевыми фитилями сквозь прогоревшую, готовую рухнуть, крышу слесарни. Шифер с треском лопался и разлетался мелкими, шрапнельными осколками. Несколько раз горячий, тугой

жар, надуваясь эластичными, чёрно-красными пузырями под сохранившимися остатками крыши, лопался и взвивался в небо огнёмётными струями. Это взрывались в слесарне канистры с бензином. После чего пламя загудело в горящей клетке постройки, как в кузнечном горне, и вознеслось выше деревьев. На залитой рыжим светом поляне перед слесарней бестолково метался и прыгал дикарем у костра, с пустым ведром в здоровой руке Игорёк.

— Скотину, выпускай скорей! Скотину!.. — закричал ему, подбегая, Бяка, хотя каким-то безошибочным чутьем угадывал, что надобности особой в подобном распоряжении не было. Слесарня стояла на безопасном расстоянии от скотного двора, сам так рассчитывал, когда ставил (поэтому и начали с неё, мелькнуло вскользь), да и ночь выдалась какая-то малахольная, ни ветерка, ни малейшего шевеления в воздухе. Игорёк послушно побежал к коровнику. “Уж не он ли петуха пустил?” — искрой пролетело в голове у Бяки. “Эй, а Байкала не видел?!” — неожиданно крикнул он вдогонку Игорьку. “Там он, в кустах!” — мотнул на бегу головой Игорек. Бяка, защищая лицо от жара рукой с топориком, шагнул в сторону вишенника. Байкал лежал на боку, словно отдыхал в жаркий день в тенёчке, под низкими ветвями молодой вишни, с проткнутым горлом. Кровь ещё не успела засохнуть на траве и блестя в пламени пожара тёмным лаком на листьях осоки. “Значит, не Игорёк... перелезали через забор, нарвались на собаку... — летели обрывки мыслей в голове у Бяки, — интересно, успел Байкал кого-нибудь тяпнуть? Наверное, его этот квадратный, с ручищами как у гориллы... Знали бы они, что спалили! Бежать надо было с этим чемоданчиком, бежать! А теперь между двух огней... Пощады ни от кого не жди!” — закружилось, завертелось в голове у Бяки. Он повернулся лицом к огню. Пожар унимался. Языки пламени становились короче и холоднее. Недовольно мычали коровы, выгнанные раньше времени в загон из теплого коровника. Подошла, дрожа всем телом, Тонька, с ужасом и страхом вглядываясь в лицо отца. Бяка недовольно нахмурился, широко размахнулся и с силой, наотмашь швырнул зачем-то топорик в огонь. Что-то внезапно как будто вонзилось ему в грудь, словно шилом ударили в самое сердце. Бяка рухнул на землю. Последнее, что он услышал, был нечеловеческий в своём отчаянии крик дочери: “Папка, не умирай!”.

...Утром в понедельник Булкин, не отдохнувший, нервный и злой после вечернего перелета из Испании, долгого получения багажа, нудного возвращения в ночи на машине домой, недосыпа и несварения желудка, раздражённо просматривая хронику происшествий за выходные, составленную районным отделом полиции, натолкнулся на сообщение, заставившее его вскочить с кресла, сорвать галстук с шеи и загромохать взбесившимся слоном по кабинету. “В ночь с пятницы на субботу сгорела хозяйственная постройка у фермера Макарова М. В. (Романовское сельское поселение). Сам Макаров М. В. скончался на пожаре при невыясненных обстоятельствах”. Булкин рванул дверь в приёмную, рывкнул, высунувшись на полкorpуса: “Срочно Труханова сюда!” Через несколько минут перепуганная секретарша доложила, что Труханова на рабочем месте нет, мобильный у него заблокирован, и предусмотрительно добавила, что дома говорят, уехал рано утром на работу. Булкин распорядился никого к себе не пускать, заказал чая в заварочном чайничке покрепче и, прихлебывая из высокой, прозрачной, настоящего китайского фарфора чашки, привезенной из тайландского Пхукета, стал машинально-старательно перечитывать, густо и в нетерпении малюга красным фломастером сообщение о фермере Макарове, думать, прикидывать разное, мстительно представляя, что он сделает с этим “говнюком” Трухановым, когда тот соизволит, наконец, появиться на службе. Вадик, лёгок на помине, отозвался звонком на мобильный Булкина. “Извините, опаздываю, еду с места события доложить... — виновато заговорил он, поздоровавшись с шефом и, услышав в трубку свирепое хрюканье носоглоткой Булкина, — буду через десять минут!” И точно, не прошло и получаса, как он влетел, как на саврасых, к Булкину.

— Владимир Савельич! — закричал в нервном захлѐбе с порога Вадик. — Я, как только узнал всё от его дочери... позвонил на мобилу, как

и договаривались, утром, этому фермеру, ответила дочка... Не стал вас будить, рванул сразу же туда! Ну, кто знал, что эти... гости его, окажутся такими отмороженными! — Видок у Вадика был ещё тот, лицо серо-зелёное, скособоченное, взгляд прыгающий, видно было, что изнутри его колотит и потряхивает.

Булкин внимательно и настороженно оглядел Вадика:

— Ты присядь, охолопись, попей вот чайку, — достал из шкафа сервизную, маленькую чашку для кофе, без блюдца, плеснул туда из заварочного чайничка, поставил на лакированную поверхность стола для заседаний.

Вадик плюхнулся на стул рядом, отпил несколько глотков, успокаиваясь, схватился за голову. Руки его были в саже.

— Всё дотла! Ничего не осталось! Я думал, пачки плотные, может, номера-серии сохранятся... нет, всё вчистую! Этот мудака зачем-то там ещё канистры с бензином держал... Судя по всему, адов огонь был! — Вадик, изображая на лице ужас, затряс головой.

— Ну хоть что-то осталось? — осторожно спросил Булкин. — Ты, я вижу, поковырялся в головешках.

— Подумал об этом, Владимир Савельич, подумал... — на пределе честными, полными горя и отчаяния, преданными глазами посмотрел на шефа Вадик, — остатки от кейса, металлические пряжки, застёжки там, оплавленные, сохранились... какая-то труха рыже-зелёная от пачек осталась... Всё собрал, в машине в пакетике лежат... Нет, если бы этот вариант, — подумав, отрицательно замотал головой Вадик, — унесли бы вместе с кейсом... А потом, зачем ему тогда умирать там, на пожаре?! — то ли озадачился, то ли утвердился в мысли Вадик. — Ну, распилили, подожгли, разбежались... Умирать-то зачем, тут радоваться надо! А он от переживаний... от разрыва сердца... — пожал плечами Вадик. — Как-то тут не сходится.

— А кто сказал, что от этого... как ты говоришь, — усмехнулся Булкин, — разрыва сердца?

— Обширный инфаркт миокарда, какой-то мощнейший... сразу умер, — поправился, насупившись, Вадик, — я звонил патологоанатому, вскрытие было в субботу...

— Значит, там “скорая” была, менты?... — раздумчиво сказал Булкин. — Кто доложил в ОВД? В сводки всё попало, — кивнул он в сторону стола.

— Ну да, дочка вызывала “скорую”... Приехали, когда он уже отъялся, — потушился, усмехнувшись, Вадик. — Пожарная машина приезжала, когда одни угли остались... Эскулапам, чтоб забрать в морг, нужно было освидетельствование ментов... вызвали участкового.

— Ага, участковый, — многозначительно посмотрел на Вадика Булкин, — это уже конкретика... Там кто участковый?

— Да старлей один... здоровый такой, Емелин... Его ещё Лёня-тюрьма зовут...

— Почему, интересно? — сделал попытку улыбнуться Булкин.

— Да он когда-то в тюрьме вертухаем служил.

— Ну и что этот Лёня-глазок в протокол занёс? — усмешливо продолжал Булкин.

— Сегодня я заглядывал... к нему, — выделил голосом, через паузу Вадик.

— Молодец, — кивнул сдержанно Булкин.

— В протоколе у него всё четко — признаков насильственной смерти не обнаружено... там всё по делу, — сдержанностью на сдержанность Булкина, с обидой, ответил Вадик. — Правда, намекал занести собаку...

— Какую собаку, что за чушь? — посуровел Булкин.

— Собаку там обнаружили на пожарище, хозяйскую... Её, видимо, того... ножом в горло.

— Однако, деталька... а мы молчим, — уже строго посмотрел на Вадика Булкин. — Ну и что он с этой собакой?

— Уладили, — значимо сказал Вадик, — у Лёни-тюрьмы чуйка есть, понял, что про собаку особенно не следует распространяться... Ну, пришлось отблагодарить человека.

— Вот это ты хорошо, правильно, — одобрительно кивнул Булкин, — мы же говорили, следаков туда не надо.

— Я всё помню, Владимир Савельич... — с благодарным трепетом отзывался на похвалу шефа Вадик. Подумал и, решив, что момент подходящий, добавил: — То, что они с собакой так, говорит о том, что Бяка, ну, фермер этот, не мог с ними в стовор войти... Скорее всего, когда он послал их подалее, они решили надавить, подожгли эту сарайку... Она, я помню, как-то на отшибе стояла. Рассчитали, сволочи, что на дом и на другое не перекинется...

Вадик сказал и, быстро взглянув на Булкина, понял, что с подобными обобщениями лучше бы ему повременить. Лицо Булкина вдруг багрово потемнело, глаза налились мутью, и он в ярости чугунно затопал ногами:

— На отшибе?! Башку тебе отшибить надо! Какого хрена, ты! ты! не подумал, что так может быть? Бандюги сразу вычленили, а ты нет! Тебе голова на что дана?! Кто мне теперь всё вернет? А мне, сам знаешь, в декабре надо будет по договору там... всё закрыть! Где мне взять теперь баксы? Ты их высрешь?!

— Я-то здесь при чём? — слабо пискнул Вадик. — Сами дали команду на перемещение чемоданчика и фермера этого одобрили! А теперь получается!.. — начал ловить воздух ртом Вадик, — а теперь получается... Несправедливо всё это, Владимир Савельич! Несправедливо! — обиженно залопотал Вадик.

— А теперь получается, что ты просто болван, дурак и кретин безмозглый! — вскрипел Булкин. — Вон отсюда! Бегом в сквер и жди меня там! Будет тебе сейчас справедливость! — заорал он Вадику вслед, когда тот с облегчением змейкой скользнул в дверь.

Встречи в скверике, что был через площадь, буквально в сотне метров от здания районной администрации, Булкин назначал Вадику в исключительных случаях, когда надо было порешать какие-то особо важные дела. Скверик, чахлый и пыльный, с низкими, кривоватыми деревьями, с плохо постриженными, измято-разломанными декоративными кустами, был почему-то всегда малолюдным, даром, что разбит был в самом центре города. Может, потому, что одной своей частью граничил с высокой, из красного дореволюционного кирпича, стеной городской тюрьмы. Обходили его боязливо и суеверно стороной иванградцы. А вот Булкин из-за пустынности и какой-то странной уединённости, судя по всему, это место любил. Когда они уединялись для переговоров в самом дальнем и глухом углу сквера, Вадик неосознанно начинал тревожно оглядываться и чего-то бояться. Наблюдательный Булкин обычно тонко улыбался и произносил своё неизменное, как ему казалось, страшно остроумное: “Русский человек, мemento тюрьма!” — с ударением на “ю”. Вот и сейчас, прохаживаясь в ожидании Булкина, по расстрескавшимся асфальтовым дорожкам сквера, Вадик, ощущая себя очень скверно, думал, что слово “скверный” от слова “сквер”, кисло и с опаской поглядывал на тюремную стену, в который раз поражаясь, что в разгар летнего дня, в самом центре города в скверике не было ни души, даже не сидели квёло привычные ко всему старички и старушки, не прохаживались тянущиеся к свежему воздуху и зелени молодые мамашки с колясками, не спали на поломанных скамейках склонные к уединению божжи. Вадик с тревогой и тоской думал, какое колёнце выкинет вокруг сгоревших денег Булкин. А то, что речь пойдёт именно об этом, он несколько не сомневался. Что, что, а шефа своего он изучил уже достаточно, даже слишком достаточно. Копейки мимо кошелька не пронесёт. Вадик прикидывал разные варианты и всё сводил в итоге к одному, что взыщется с него. Но у него таких денег не было. Хоть вешайся или стреляйся! Но тут пошла такая масть, прикидывал Вадик, что взыщется и с мёртвого...

Шумно, отдуваясь, вспотевшим — денёк задавался жарким — подошёл Булкин. Хмуро, неодобрительно оглядел Вадика, раздражённо похрюкал носоглоткой:

— Ты, вот что, Вадим, — начал вполне миролюбиво, — я там пошумел немного, это всё в сторону... эмоции это, бабье всё... будем по-деловому.

Предложение такое... — Вадик напрягся. Булкин умерил строгость во взоре. — Насколько я помню, этот фермер был в кредитах, как екатерининский вельможа в звёздах, — по первому образованию Булкин был учителем истории, любил поиграть заковыристыми сравнениями, — перекредитованный товарищ... Так вот, надо связаться с банком, который ему последним больше всего отвалил, наверняка, в залоге именище покойного — пусть банкротят ферму, описывают имущество... Там есть что взять, домишко, ты говорил, приличный, техника, скотинка, земляца вполне ухоженная... Наследники есть? — неожиданно спросил.

— Дочка, — скупо выдавил Вадик, ещё не понимая, куда клонит Булкин.

— Что за фря?

— Да так, — пожал плечами Вадик, — глупая деревенская клуша.

— Жить ей будет где?

— Какая-то развалюха в деревне от дедушки с бабушкой осталась, — уныло промямлил Вадик.

— Потом, — хмыкнул Булкин, — надо ей будет выписать тысяч восемьдесят из фонда поощрения малого и среднего бизнеса, ну, так сказать, за заслуги отца. А пока на похороны тысяч двадцать...

— Понятно, — опустил глаза в землю Вадик, чувствуя приближение развязки.

— Итак, мы отвлеклись, — продолжил Булкин, цепко прихватив снова посуровевшим взглядом Вадика, — банчок банкротит ферму, описывает имущество, выставляет на торги — следишь за мыслью? — надавил глазами Булкин. — И тут вступает в дело твой двоюродный братец...

Вадик непроизвольно издал то ли стон, то ли глухое мычание, как от сильнейшей, неожиданной боли.

— Ничего, ничего, — успокоил его Булкин, — не бедный, пяток нехилых магазинов по всему нашему городку, ларьки на рынке... А кто подниматься помогал? Кстати, какая у тебя там доля? — насмешливо покосился в сторону Вадика.

Вадик онемело молчал.

— Итак, братец твой покупает поместье это, а затем... — Булкин сделал выразительную паузу, — продаёт его... моей структуре. — Булкин сделал доброе лицо и потрепал Вадика по волосам: — Очнись! Это ещё не всё! Выручку твой братец обналичит и вернёт всё до копейки моим людям.

— Это ж сколько он отдаст вначале банку, а потом вам, — вымолвил, наконец, Вадик, — он разорится.

— Он отдаст твою долю в своем бизнесе... лимонов десять, — невозмутимо сказал Булкин, — это всего шестая часть того, что по вашей милости, потерял я.

— Но вы же потом ещё раз перепродаете ферму, двойная выручка, — уныло вступил в торг, чувствуя, что совершает ошибку, Вадик.

— Правильно! — с агрессивным торжеством воскликнул Булкин. — Выручку ещё столько же! Но это всё равно только треть от потерянного. Думай, как к декабрю вернуть хотя бы половину! Я подожду, свои люди, — ухмыльнулся Булкин, — но Мальграт, сам знаешь, ждать не будет! — И он мягко и дружелюбно улыбнулся Вадику.

— Есть одна мысль, — оторвал взгляд от земли Вадик, — там в Романове, Бяка говорил, ну, Макаров этот, когда в последний раз звонил, когда мы ехали в аэропорт... один мужик, кажется, Смирнов, как-то так, простая фамилия... в фермеры рвётся.

Булкин принял стойку жирного вопросительного знака:

— Ну-ка, ну-ка?

— Надо заняться им, — тускло (обида переполняла его) сказал Вадик, — побыстрее оформить в фермеры, ну и, как начинающего, щедро одарить подъёмными, кредитами... с откатными, допустим, на половину...

— Нормально, — одобрил Булкин, — займись... К концу года у нас неосвоенных в бюджете лямов пятьдесят набегают... Хотя бы десятку через этого новоявленного мироеда отбить, нормально будет... А там ещё что-нибудь

придумаем. — Он ласково пощупал взглядом Вадика. Вадик обиженно отвёл глаза в сторону. — Ну, давай, партизан, расходимся по одному... Да, и ещё, чуть не забыл, — приостановился Булкин, — в среду у меня будет Эдик Бекас, хочет на въезде в город, со стороны Москвы, АЗС открыть... ты с ним завтра повидайся, пусть поспрашает среди своих, кто фермера спалил. Отморозков этих надо найти и примерно наказать! — Булкин резко крутанулся на каблуках в сторону выхода из сквера. — Так и передай Бекасу, пусть ищет... Иначе заправку на золотом местечке построит другой. Найдёт, отправим поджигателей на исправительно-трудовые... надолго... будут по копейке оплачивать ущерб, всё польза от дебилов! — Посмотрел в сторону тюремной стены, подмигнул Вадик: — Мemento тюрьма!

9

Несколько раз Людка пыталась напомнить о себе, встретиться, поговорить с Андрюхой. Тот упорно от любых встреч-контактов уклонялся. Она шла через деревенских его мобильный телефон, звонила, Андрюха, слыша её голос, сбрасывал номер. Людка дежурила по субботам, когда приезжала к родителям, у окна, отслеживала на улице машину Андрюхи, а затем, приодевшись, начинала фланировать перед окнами смировского дома. Бесполезно. Столкнуться с Андрюхой так, как бы случайно, не получалось. В клуб она после истории с Витьком, которую вспоминала с содроганием и ужасом, перестала ходить. Да и Андрей, доходило через подружек, там тоже не появлялся. Тогда она обратилась к последнему, старинному, самому верному способу — написала ему коротенькую записку и передала через Маринку. “Андрюша, — писала она сдержанно, как ей подсказывало чутьё, с достоинством, — нам надо увидеться. Я знаю, меня оговорили. Но всё не так. Мне нужен только ты. И вообще мне хочется тебя обнять и сказать очень, очень важное. Есть что сказать. Ты не представляешь, что со мной происходит. Люда”. Ответ был жёсткий: “Не хочу тебя ни видеть, ни слышать”. Без подписи. С Людкой случилась первая бабья истерика в жизни.

А между тем, к октябрю, обычно внешне, по-мужски равнодушно-безразличный к жизни “бабья”, Генка Демьянов стал невольно примечать за дочерью разные интересные изменения. Так они стали бросаться в глаза. Людка слегка округлилась, похорошела, налилась чистым женским соком. Как-то ясно, изнутри, засветилась. Первый раз эти превращения за дочерью Генка заметил где-то в конце сентября, сидя однажды в ласковый, солнечный денёк уходящего бабьего лета, на подгнивших ступеньках своего крыльца, неспешно покуривая и бездумно-размеренно прищлёпывая по половицам носком резиновой тапочки на босу ногу. Людка тогда приехала на выходные к родителям и взялась наводить порядок в доме. Шныряла мимо отца то с пыльными половиками выбивать на улице, то с ведром и тряпками мыть полы. Генка недовольно (мешала спокойно сидеть), искоса, разглядывая спущенную туда-сюда дочь. “Сиськи налились, ноги покрупнели... и сзади как бы раздалась”, — отмечал между делом Генка, не понимая ещё, как относиться ко всем этим, неожиданно проявившимся, изменениям в фигуре дочери. Но уже в следующую субботу, так же смоля сигареткой на крыльце в неизменных тапках на босу ногу, хотя заметно похолодало, и по привычке отслеживая, как Людка несёт, прижимая высоко к груди, дрова из сарая растопить печь, Генка как-то разом встряхнулся, отметив вдруг с недобрый предчувствием особую выпуклость живота у дочери. Неприятная догадка шевельнулась в душе и заставила в первый раз задуматься, что с девочкой что-то не так.

Вечером, отужинав жареной картошкой и парой настораживающе-бледных, рыхло разваренных, “пустых” сосисок (Людка привезла из города), прихлёбывая сладкий чаёк, заваренный чем-то непонятным в пакетиках на ниточке, Генка неприязненно, с нарастающим раздражением (что-то от него бабы явно скрывали), наблюдал за женой, процеживающей с унылой старательностью через марлю в трёхлитровые банки только что из-под коровы, парное молоко. Нинка с годами всё больше сутулилась, подсыхала, как забытая корочка в торбе у нищего, казалась всё меньше ростом. “Страшненькая

со временем получится бабуся”, — уже откровенно злясь, подумал Генка, отмечая, как сиротливо-жалко горбится острыми лопатками жена, наклоняясь с подойником к банкам. “Вобла с крыльями!” — определил Генка и ощутил вдруг сильнейшее желание двинуть что есть силы жене по хребту — враз бы в струнку вытянулась!

— А с Людкой у нас всё нормально, мать? — справился с дурным желанием, но как-то ядовито-елейно, с глупой ухмылкой спросил.

Нинка оторвала ведро от горлышка очередной банки, испуганно вскинула на мужа глаза:

— Не знаю, что и сказать тебе! — поставила подойник на пол, суетливо заправила седеющие прядки волос со лба под простенькую, неопределённого цвета, изношенную косынку, боязливо-затаенно вздохнула.

— Скажи, как есть! — пристукнул чашкой по столу Генка.

— На сносях она, отец... — тихо, обмирая, сказала Нинка.

Генка зверем вырвался из-за стола, завис с кулаками над женой:

— У-у, курица безмозглая! Так я и знал! Что раньше молчала?!

Крупными шагами, опрокинув подойник с остатками молока на пол, рванулся в комнату к дочери. Наскоком схватил Людку за шиворот, рывком приподнял из кресла:

— В подоле решила принести! Тихой сапой! Кто брюхо набил, сучка?!

Людка, хрипя и вырываясь из-под отцовской руки, сдалась сразу:

— Андрюшка Смирнов!.. Пусти, больно!

Генка брезгливо отбросил дочь в кресло.

— Ничего не путаешь? — разъяренно склонился над Людкой. — Болтали, ты с этим братком, Орешниковым, таскалась!

Людка, уткнувшись лицом в ладони, зарывав в голос, неприязненно повела острыми лопатками. И со спины стала очень похожа на мать. Генка вспомнил, что женился на Нинке, когда та была тоже с уже приличным животом. Ему стало жаль дочь, и он грубовато одернул сбившуюся кофту на спине Людки:

— Ладно... баба всегда знает, от кого она... Значит, Андрюха Смирнов? Вот козёл... Что делать будем? К врачу идти надо... чего тянешь!

Людка подняла на отца свою кукольную, симпатичную мордашку, ставшую от слёз ещё милее и роднее:

— Не хочу я к врачу! — вдруг зашлась она и упала перед отцом на колени: — Папка, прости! Не пойду к врачу! Хоть убей, а ребенка оставлю! — закричала не своим голосом и боком повалилась на пол. Нинка, укоризненно посмотрев на мужа, бросилась к дочери.

Генка стоял оглушенный, такая неведомая прежде сторона бабской жизни открылась ему вдруг. “Ещё не родила, а как защищает!” — что-то похожее на уважение и даже гордость за дочь шевельнулось в нём.

— Ничего, вырастим... а с Андрюшкой я поговорю... он хоть знает? — в смущении забормотал Генка, помогая Нинке поднять Людку с пола и усадить снова в кресло.

— Ничего он не знает, — дрожала Людка губами, — ему что-то наговорил этот Орешников... У нас получилось всё неожиданно с Андрюшкой, хорошо всё получилось... Орешников догадался, отомстил, садист, насильник...

— Он, гад, что-то сделал с тобой? — тихо и нехорошо спросил Генка.

Людка заметалась головой по спинке кресла:

— Потом! Не сейчас!

Генка окаменело, не отрываясь, смотрел на дочь:

— Он ответит! — мрачно изрёк. — И с папашкой этим... хлюстом твоим, выпадет время, поговорим как надо... Не знает он! Так пора знать уже!

Время “поговорить с хлюстом” выпало на Покров. Прежде в Романове это был “престол”, отмечаемый и при Советской власти. Богоборческая власть закрывала на этот “пережиток” глаза... Коренные романовцы праздник ещё как-то, по затухающей, помнили. Стирали по старинке занавески на окнах, мыли полы, резали, у кого были, гусей, тушили с картошкой... Тускло, без размаха, выпивали. Генка был коренной и считал, что он кое-что помнит, а поэтому сходил через дорогу тоже к коренному Ваське Чистякову,

заприметив со своего крылечка, как тот начал с утра ошкуривать топориком осинки перед домом на новую баню. Генка прихватил с собой бутылку самодельного, и Васька после традиционного романовского приветствия “с Покровом!”, не чинясь особенно, шустро стогнал в дом за стаканчиками и солёными огурцами.

Был серый, влажный денёк с лёгким, как дым, туманцем на кустах и деревьях. Мягкими волнами накатывал тёплый южный ветер, приносил с оголившихся садов горький аромат палой листвы. До этого шли спорые, нудные дожди, а вот на Покров вдруг ни капли. Словно что-то накапливалось, затаивалось в природе для каких-то резких, решительных перемен. “Тучи перестраиваются на снег, — со знанием дела крутил головой Васька, поглядывая на небо, — вот потянет сиверок, сразу снежку навалит”. Пока же сиделось на подсохших брёвнышках вполне уютно и в удовольствие. Генка переобулся на Покров из резиновых тапочек в войлочные сапоги на литой, резиновой подошве, надел новый пуховик (Людка купила на рынке), чёрную вязаную шапочку и чувствовал себя вполне справным, солидным мужиком, готовым хоть сейчас войти в самые лютые морозы. Его распирало здоровье и благостность. После третьего стаканчика ему стало совсем хорошо, и он уже вполне убедительно, как ему казалось, растолковал Ваське, почему Крым окончательно и бесповоротно снова отошёл к России. Вот тут-то и проехал мимо, аккуратно огибая глубокие, мутные лужи на дороге, на своём “фольксвагене” с чёрно-оранжевой георгиевской ленточкой на антенне, Андрюха Смирнов. И у Генки разом созрело решение “поговорить” сегодня же с “говнюком” на предмет его дальнейших отношений с Людкой. “На Покров свадьбы играли, вот и мы сегодня, может, зачем чего...” — решил без колебаний Генка.

Было где-то около семи вечера, когда он отправился к Смирновым. На улице похолодало. Свежим, морозным дыханием предупреждал о скорой зиме Север. В свете фонарика, искрясь, кружились белыми бабочками крупные, лёгкие снежинки. “Тучи перестроились на снег”... Генке вспомнилось, как в детстве широко и людно, с гармошками гуляли на Покров в Романове, как возбужденно и радостно перебежали они с мальчишками от одного круга пляшущих к другому, как выслеживали парочки, незаметно подкрадывались, “пугали” — кричали, заходясь в детском восторге, что-то о женихе и невесте... Вот потеха была! Или, как (почему-то именно на Покров) рыскали по садам, искали в опавшей, пружинящей под ногами листве влажно-скользкие, пропитанные холодной чистотой первых заморозков, нападавшие яблоки. Вкуснее не было на свете ничего этих яблок... “Куда все ушло? И куда пришло?!” — машинально думал Генка, вслушиваясь в мёртвую немоту деревни, шаря лучом фонарика по тёмному, избитому колеями створу улицы... и, раздражаясь, прикидывал, с чего начать разговор у Смирновых. Решил — “лучше пусть как само пойдёт”.

Железная дверь с улицы в заборе из гофрированного металлического листа легко, плавным нажатием вниз отлаженно-пружинистой ручки, без скрипа и лязга поддалась. На широкой терраске был включён свет. Чёрный камень дорожки, ведущей к дому, мерцал кристаллами первого снега. Чётко прочерченной графикой темнели на просвет аккуратно подшитые яблони и сливы. На всём пространстве двора было уютно и красиво. “Порядок у кулачка! Фермер гребаный!” — неприязненно поглядывая по сторонам, вспомнил Генка деревенские сплетни, что на место умершего Бяки оформляет документы Виталик Смирнов.

В помещение Генка вошел по-деревенски, без стука. Просто потопал перед дверью для порядка ногами. В доме было тепло, даже жарко. Играло, жёлто размазывая блики на кирпичках сквозь щели в заслонке, пламя в каменном подтопке русской печи. Сладко пахло нарезанной капустой. Томка возилась с засолкой на кухне, хрустко перемешивала руками шинковку с морковью, с силой отжимала, посыпала крупной солью, снова отжимала, перекалывала, зажимая ладонями вороха длинно нарезанной капусты, в высокий эмалированный бачок. Она первая выглянула на шум в дверях.

— О, Гена, вот так гость!.. — запнулась было Томка от неожиданности, но поправилась на более приветливый тон. — Проходи, раздевайся!

— Шёл мимо, дай, думаю, загляну на огонёк, — остановился Генка в небольшом коридорчике-прихожей у вешалки с зеркалом, красиво забраным в резную рамку, стал расстегивать куртку, — сегодня же Покров!

— Понятно, понятно, — почему-то вдруг, словно почувствовав что-то неладное, засуетилась Томка, — ты, наверное, к Виталику... Они с Андриюшкой только что из бани... Отец, к тебе пришли! — крикнула мужу в комнату напротив.

— Ничего тебе не понятно, — запыхтел, нагнувшись, с усилием стаскивая сапоги с ног, Генка, — ты приезжая, не знаешь... Покров у нас в Романове — престол! Раньше праздновали, знаешь, как!

— Тапочки вон бери... — кивнула Томка на шлепанцы под зеркалом, — и проходи... я тут капустой занялась.

— Это правильно, капусту на Покров солят... Мы третьего дня тоже с Нинкой кадушку нарубили, — соврал Генка, вспоминая, что он только вчера после долгих понуканий жены срезал кочаны с грядок. Сунул ноги в тапки, двинулся было вперёд, но вернулся к куртке, вытащил бутылку из кармана, потряс в воздухе: — Чуть не забыл главное! С Покровом!

Запоздало, стараясь согнать с красного, распаренного лица растерянность, появился в дверях передней и сам хозяин.

— Здорово! — коротким движением от живота протянул Генке руку Виталик, другой механически, в недоумении, потёр ухо.

— Ты, это самое, земля, что летом было... забудем, — по-своему расценил жест с ухом Генка, — ну, погорячился я тогда малость... Характер у меня такой, завожусь с пол-оборота... дурак дураком бываю! И всё из-за чего? Из-за скотины какой-то! Другую норовистую какую, ты прав, может, и хлыстом поучить как следует надо, чтоб не пёрла куда не следует, а если попёрла, отвечай и получай... Вот так — отвечай и получай! За всё в жизни отвечать надо, за всё! — витиевато заговорил Генка, подходя к столу, ставя с пристуком бутылку и здороваясь за руку с Андриюхой. Андриюха поздоровался молча, сдержанно, даже не привстал. Он почему-то сразу догадался, по чью душу заявился неожиданный гость. Подумал о Людке, насутился: “Дура, полная дура!”

Виталик принёс Генке из спальни стул, Томка подала тарелку, вилку и одинаковый, третий, гранёный стаканчик. В раздумье удалилась на кухню. Генка хотел что-то сказать ей вслед, но воздержался. На столе стояла стеклянная салатница с винегретом, сковорода с жареной домашней колбасой, солёные огурцы, хлеб, наполовину опорожненная бутылка с коричнево-подкрашенным зверобоем самогоном. Виталик, бегло взглянув на сына, незаметно вздохнул, взял свою бутылку.

— А давай, мою попробуем, — предложил Генка, — к празднику трёхлитровую банку нагнал!

Виталик отвинтил крышку с гостевой бутылки, понюхал:

— Запашистая... из картошки?

— Из чего же ещё! — живо подхватил Генка. — Зерно теперь только на рынке в городе. Дожили! Ни одного гектара не сеем, не пашем. Раньше можно было у Бяки хоть немножко зернца купить, ну, теперь и Бяки нет.

— Похоронили, — скупо отозвался Виталик.

— Усадьбу, болтают, банк за долги забрал... во дела, — протянул Генка, подумал и добавил: — Ты, я слышал, фермерство оформляешь?

— Пытаюсь, — уклончиво сказал Виталик.

— Ну и как?

— Сложно всё, волокиты много... — ускользал от разговора о фермерстве Виталик. Генка посчитал разумным не приставать больше с вопросами, умолк.

Виталик разлил Генкин самогон по стаканчикам, чокнулись, хмуро выпили.

— Хорош, крепкий чёрт! — на правах хозяина вежливо оценил Виталик, морщась, отрезал на сковороде кусок колбасы. — А я в свою зверобой добавляю, и вкус приятный, и мягчит.

— Говорят, зверобой на это дело отрицательно влияет, — показал глазами на низ живота у себя Генка.

— Не знаю... зверобой и в чай добавляют, — заел колбасу для вкуса вилоккой винегрета из салатницы Виталик, — я слышал, наоборот полезно.

— На что-то полезно, а вот на это дело точно вредно, — почему-то начал упорствовать Генка, — мне одна врачиха говорила.

Виталик только пожал плечами, тему затронули какую-то странную.

— Ну, нам-то с тобой, Виталич, теперь это по барабану, — гнул своё с упрямым нажимом Генка, — а вот молодёжи нет. У молодёжи всё должно быть пучком, девок-то вон сколько кругом... Правильно, Андрюш? — со смыслом посмотрел на Андрюху. Тот отвел глаза, усмехнувшись, промолчал.

— Что усмешничаешь-то? Вижу, всё понял! — наступательно и зло вдруг заговорил Генка, развернувшись всем корпусом к Андрюхе. — На четвёртом месяце Людка! Говорит, от тебя!

На кухне охнула Томка, и слышно было, как что-то с мягким, тупым звуком упало и покатилося по полу. “Кочан выпал из рук”, — машинально отметил Виталик, ещё не до конца осознавая, что сказал Генка.

— Как это понимать? Какая Людка?! — опешил он.

— А так и понимать надо, сватушка ты мой дорогой, — быстро налил себе стаканчик и нервно опрокинул в рот Генка, — что сыночек твой, Андрюша, дочку мою, Людку, обрюхатил... с пузом ходит девка!

— Это что же такое? — оторопело посмотрел на сына Виталик.

Андрюха опустил глаза в пол. В дверях вся в слезах появилась Томка:

— Это правда, сынок?! Что молчишь?

— Не знаю... — угрюмо отозвался Андрюха.

— Интересно получается, набил девке брюхо и не знает! — аж подскочил на стуле Генка. — Вот она, современная молодёжь — сунул, вынул, побежал! А ребёночка кто растить будет? К врачу она отказывается идти!

— Тут ещё надо посмотреть, кто отец! — вскинул голову Андрюха. Эх, помолчать бы ему! Но он уже не владел собой. — Там до меня всякие побывали, хвастали разное! — зашелся он. — Я чужие грехи прикрывать не буду!

— Постой, так не надо, не горячись! — залепетал Виталик. — Тут надо теперь всё аккуратно, детально разобрать...

— Ты хочешь сказать, наша Людка — подстилка, проститутка, что ли? — взъярился Генка. — За это, парень, знаешь, что бывает? — грозно стал приподниматься он из-за стола.

— Я этого не говорил! — сухо, овладевая собой, бросил Андрюха. — Только до меня у неё тут было с одним плотно...

— Ну, знаешь, чего у кого не бывает! — загремел над столом Генка. — Про тебя ведь тоже, небось, не скажешь, что нецелованный! А бабы, спроси у матери, всегда знают, от кого понесли... Природа у них такая! Чутьё особое! — Генка на секунду задумался, кинул взгляд в сторону Томки: — Это я не про тебя, Тамара, это я в качестве примера женщины... В общем, пока у Людки пузо колесом не выперло, бери девку и в сельсовет на роспись!

Генка сел и нервно задвигал, как шашки, перед собой вилокку с рюмкой. Из-под аккуратно стриженных (Людка ухаживала за отцом), довольно еще густых, с редкими блёстками седины, волос выкатились струйки пота и потекли по вискам вниз.

— Ну и жаршица у вас! — Генка утерся рукавом пиджака, взглянул на Андрюху. Андрюха выдержал взгляд, сурово набычился.

— Никуда я не пойду, — выдавил он, — пусть другие ходят, кто до меня ходил...

— Зря ты так, парень, — дымом заволокло зрачки Генки, — судьбу себе и другим ломаешь... Людка, она, конечно, заводная, но не подлая... А если ребенок без отца вырастет и вором станет, или над ним какой-нибудь хахал Людкин потом издеваться будет... совесть не замучает? — Генка ненавидяще посмотрел на побледневшего вдруг Андрюху.

Томка, рыдая, пулей проскочила из кухни в спальню, где, слышно было, рухнула на матрасным звоном отдавшую кровать, заголосила. Виталик,

опустив голову, потрясённый, катал хлебные шарики на клеёнке. Генка встал и, полный оскорблённого достоинства, бойцовским петухом задрал голову, молча, не прощаясь, направился в коридор к вешалке.

Он вышел на улицу. Редкий снег перешёл в тихую, незлую метель, падал на землю мягкими, влажными струями. Нежнейшей, белой накидкой прикрывал осеннюю наготу, наполнял пространство теплом и светом. Отряхивая короткими подёргиваниями лапки от снега, на дорожку к калитке выбежала кошка, зачем-то с боязливой осторожностью уселась на ходу. Генка с размаху, в дурно накатившем бешенстве, врезал по ней ногой. Кошка, мяукнув, эластично-мягким комком отлетела в сторону и белкой взметнулась на высокую яблоню. Мстительные чувства переполняли Генку. В голове метелью роились идеи отомстить — одна страшнее другой.

(Продолжение следует)